

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОЛОМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
МУЗЕЙ «ЗАРАЙСКИЙ КРЕМЛЬ»

*К 500-летию рода Достоевских  
и Дню славянской письменности и культуры (Коломна, 2007)*

# Летние чтения в Даровом



Материалы международной конференции  
27 – 29 августа 2006 г.

УДК 882.09  
ББК 83.3(2=Рус)5-8  
Л52

**Летние чтения в Даровом.** Материалы международной научной конференции 27 – 29 августа 2006 г. / Составитель В. А. Викторovich. – Коломна: КГПИ, 2006. – 168 с.

*Конференция организована  
Коломенским государственным педагогическим институтом  
при финансовой поддержке  
Российского гуманитарного научного фонда  
совместно с Министерством образования Московской области  
(грант 06-04-50480 г/Ц),  
а также Администрации Зарайского муниципального района  
и Центра технической диагностики «Диаскан»*

Тексты докладов печатаются в авторской редакции.  
Все цитаты из произведений Ф. М. Достоевского  
даются по Полному собранию сочинений в 30 томах (Л., 1972 – 1990):  
в скобках номер тома; номер страницы.

На обложке использована иллюстрация Н. Верещагиной (1953)  
к роману «Бедные люди».

ISBN 5-98492-015-8

© Авторы статей, 2006  
© В. А. Викторovich, составление

## **Уважаемые дамы и господа!**

Сердечно приветствую всех участников, организаторов и гостей международной научной конференции, посвящённой 500-летию рода Достоевских.

Замечательно, что конференция «Летние чтения в Даровом» обращается к истокам богатой российской национальной культуры, к духовному возрождению одного из великих классиков русского литературного наследия — Фёдору Михайловичу Достоевскому.

Горячо приветствую подвижническую деятельность Коломенского государственного педагогического института, Российского общества Ф. М. Достоевского при поддержке Российского гуманитарного научного фонда в организации не только данного мероприятия, но и осуществления научных экспедиций комплексного характера, в которых участвуют филологи, историки, археологи, фольклористы, дендрологи и реставраторы. Эта деятельность имеет положительный воспитательный эффект, так как в возрождении культурного наследия участвует молодёжь Подмосковья. Осуществляя эту деятельность, молодые люди соприкасаются с российской природой, познают душу своего народа, страстным защитником которого был сам Ф. М. Достоевский.

От всей души желаю вам настоящего праздника общения и единения близких по духу людей. Будьте здоровы и успешны в жизни и творчестве, вдохновенны на благо дальнейшего созидания отечественной культуры и её духовного потенциала.

*Министр культуры и массовых коммуникаций  
Российской Федерации  
А. С. Соколов*

## PAIDEIA OT ДОСТОЕВСКОГО

Древнегреческий термин *Paideia* на русский язык чаще всего переводится словом «образование», хотя этот перевод отсекает некоторые важные оттенки смысла, в большей степени передаваемые другим словом – «воспитание». Целостность греческого термина лучше передают немецкое *Bildung* и английское *education*.

Среди многих на сегодняшний день трактовок *Paideia*<sup>1</sup> мы выделим объяснение Хайдеггера в его работе «Учение Платона об истине». Хайдеггер интерпретирует известную «притчу о пещере» из «Государства», исходя из диалектического взаимодействия у Платона двух категорий – «пайдейя» («перемещение человека в место его существа» – использую перевод В. Бибихина) и «алетейя» («непотаённое»)<sup>2</sup>. В этой связи *Paideia* не означает «загрузку» знаниями человеческой души как «сосуда» (чем сплошь и рядом грешит победившая в новое время позитивистская педагогика). Хайдеггер пишет так: «Пайдейя означает обращение всего человека в смысле приучающего перенесения его из круга ближайших вещей, с которыми он сталкивается, в другую область, где является сущее само по себе»<sup>3</sup>.

Резюмируя мысль Платона-Хайдеггера, можно, очевидно, сказать, что *Paideia* в сократической мудрости Эллады (этого детства человечества) предстаёт как возвращение человека к первосмыслу и в определённой мере – к самому себе, т. е. к своему первообразу.

Христианство, очевидно, находится в русле данной традиции. Христианское воспитание нацелено на проявление образа Божия в человеке. Как известно, на вопрос учеников «кто больше в Царстве Небесном», Христос поставил посреди них дитя, сказав: «если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное» (Мф. 18: 3).

В дальнейшем развитии цивилизации, назвавшейся именем Христа, этот завет остался на долгие века непонятым и непринятым. Почему дитя? Зачем надо быть «как дети»? («впасть в детство» в русском языке – то же самое, что «идиотия»). Несмотря на ясно выраженный завет Христа, так называемая христианская цивилизация не могла преодолеть своего отношения к ребёнку как к недочеловеку (отношение это зафиксировано в латинском *infantilis*), когда детство воспринимается только как ступень, подготовка к взрослой жизни. Произошло это, очевидно, потому, что в сложившемся представлении «что есть развитие» возобладал концепт линейности, т. е. исключительно эволюционного, необратимого движения от форм, признаваемых за «низшие», к формам, признанным как «высшие» (образ лестницы не случайно так активно эксплуатируется в европейской философии и педагогике).

Перелом в отношении к детству наметился лишь в XVIII столетии и связан прежде всего с открытиями Руссо. Хотя слово «открытие» звучит здесь странно, но так получилось, что именно через Руссо европейская (христианская) культура заново открывала то, что было открыто ей 18 веков назад. Руссо сформулировал жестокий упрёк творцам этой культуры: «детства не знают», «ищут в ребёнке взрослого, не думая о том, чем он бывает прежде, чем стать взрослым»<sup>4</sup>. Вывод Руссо несколько абстрактен (как и всё его педагогическое учение), но он выражает новый взгляд на вещи: «У человечества – своё место в общем порядке Вселенной, у детства – тоже своё в общем порядке человеческой жизни...»<sup>5</sup>. Как можно видеть, Руссо отверг предшествующую концепцию линейного прогресса, исходя из идеи стадияльного развития. Следуя ему, Лев Толстой называл детство, отрочество и

юность эпохами человеческой жизни (эпоха, в отличие от ступени, имеет статус относительной самостоятельности, отдельности, собственной внутренней логики). Представление о стадийном характере развития было положено в основу и новой европейской педагогики, пошедшей за Руссо: Песталоцци и его последователи пытались соединить уважение к личности ребёнка с постановкой задачи её развития. Соединение это по существу оказывалось весьма нестабильным: пережим в ту или другую сторону (уважения или развития) нарушал хрупкое равновесие в пользу либо абсолютизации свободы (Л. Толстой), либо интеллектуальной дрессировки (русская «прогрессивная» педагогика второй половины XIX века была крайне увлечена педантической систематикой Дистервега).

Борьба этих двух направлений составляет проблемную ситуацию, в которой формировалась Paideia Достоевского, не примкнувшего ни к той, ни к другой стороне.

Трактовка детства у Достоевского не укладывается ни в линейную, ни в стадийную концепцию. Её скорее можно определить как циклическую: всё уже было в детстве, оно – как бы жизнь до жизни, проживаемая от начала и до конца, а затем вариативно повторяемая в бытии повзрослевшего человека. Заметим, что педософия Достоевского концептуально изоморфна его историософии с ключевой категорией «золотого века»<sup>6</sup>, равно как и природе его творчества, всегда проходящего через первичный акт целостной «поэмы». Всё это свидетельствует о том, что Paideia Достоевского соприродна его гению, рождённому, в свою очередь, в лоне христианской культуры.

В русской литературе близкую трактовку детства мы находим в «Сне Обломова», не случайно столь ценимом Достоевским. В европейской литературе наиболее последовательно идея духовной автономии детства была воплощена у Диккенса.

Для всей мировой культуры ключевой в этом смысле фигурой является именно Достоевский. Уже в «Бедных людях» мы находим начальный набросок к

развернувшейся затем в его творчестве концепции детства как зерна, в котором целостно «свёрнуто» всё последующее бытие личности. Я имею в виду воспоминание Вареньки о своём детстве в письме от 3 сентября, и в частности, такое её наблюдение: «И нет впечатления в теперешней жизни моей <...>, которое бы не напоминало мне чего-нибудь подобного же в прошедшем моём, и чаще всего моё детство, моё золотое детство!» (1; 83).

Мотив циклического развития, интуитивно нащупанный в первом романе Достоевского, предопределяет одну из важнейших особенностей сюжетной поэтики зрелого писателя. В сжатом виде её можно наблюдать в «Записках из подполья»: детство героя программирует его «подполье»; всё, что происходит в основном сюжете – вариация уже состоявшегося в предыстории.

В «Преступлении и наказании» генезис идеи Раскольникова приводит нас к детскому воспоминанию о забитой лошадке. Тогда, в детстве, произошёл духовный надлом личности, экзистенциально отразившийся в дальнейшей судьбе героя. Отметим некоторые символические детали детского воспоминания Раскольникова. Прежде всего это беспомощность отца, не сумевшего ни защитить сына, ни хотя бы обозначить нравственную позицию (её выражает осуждающий Миколку старик из толпы). Получается – из самой логики произошедшего – что Родион лишён покровительства отцовской силы, он в онтологическом смысле безотцовщина; не случайно и пространственное решение сна-воспоминания: они с отцом шли в церковь мимо кабака, но пьяная сцена захватывает и потрясает мальчика, после чего они с отцом возвращаются домой, так и не дойдя до церкви.

Тема онтологического отцовства (или, скорее, безотцовщины) получит трагическое продолжение в последующих романах Достоевского (истоки её, безусловно, ещё в «Неточке Незвановой», а возможно, отчасти ещё и в переводе бальзаковской «Евгении Гранде»). Своеобразное преломление её находим в «Бесах». Всеобщим отцом (если

можно так выразиться, минус-отцом) является здесь Степан Трофимович, своей духовной «отвязанностью» породивший детей-«бесов», окончательно сорвавшихся «с привязи».

Своих «Отцов и детей» Достоевский, как он сам признавался, написал в «Подростке» и «Братьях Карамазовых». Их пафос в публицистической форме был выражен автором тогда же в «Дневнике писателя»: «Без зачатков положительного и прекрасного нельзя выходить человеку в жизнь из детства...» (25; 181).

Всё дело, по Достоевскому, именно в «зачатках»: каковы зачатки, такова и вся последующая жизнь.

Выявив поэтику циклического сюжета у Достоевского, мы, возвратившись вспять, можем теперь – в свете обозначенной перспективы – приблизиться к пониманию самого загадочного из романов писателя, ставшего к тому же камнем преткновения для современного отечественного достоевковедения, – романа «Идиот». Сюжетная цикличность его очевидна: история Мышкина и Настасьи Филипповны – вариация швейцарской «предыстории» (Мышкин – Мари). И в том, и в другом случае – гибель героини и уход героя. Однако и в том, и в другом случае не менее, а может, и более важна рецепция «детского клуба» (выражение из подготовительных записей к роману), т.е. те впечатления, которые вынесли из этих историй их свидетели и участники – дети. Вынесли для последующей и уже другой жизни.

Мышкин является в Россию из цитадели современной педагогики – Швейцарии. Именно там пребывали источники, питавшие русскую педагогическую мысль. Посещение Швейцарии давало импульс для формирования новых подходов к детям у Вл. Одоевского, Л. Толстого, Ушинского, Корфа, Рачинского...

Знакомство с ними Достоевского удостоверяется неординарным интересом к этой тематике журналов «Время» и «Эпоха», а затем «Гражданина», «Дневника писателя». Мышкин до определённой степени – наследник Руссо и Песталоцци в своём

отношении к детям («меня всегда поражала мысль, как плохо знают большие детей»). Направление, в котором он движется в определённый момент – от Песталоцци к Л. Толстому (недаром же он тоже Лев Николаевич). Так Мышкин рассмешил швейцарского учителя Тибо, сказав о детях, «что мы оба их ничему не научим, а они ещё нас научат» (8; 58). Незадолго до романа «Идиот» Лев Николаевич Толстой так же насмешил русских учителей статьёй под названием «Кому у кого учиться: крестьянским детям у нас или нам у крестьянских ребят?» (1862). Характеризуя Мышкина как учителя (а он таков по сюжету и в своей предыстории, и в истории), мы замечаем, что он в некотором существенном отношении уходит и от Песталоцци, и от Толстого 60-х годов. Позднее и сам Толстой пересмотрел свои взгляды, обратившись к религиозной педагогике, т.е. признав значение авторитета в воспитании (авторитет и авторитарность следует различать). Сам Мышкин, несомненно, обладающий таким авторитетом, т.е. силой прямого, целостного воздействия личности, формулирует суть своей педагогики несколько неопределённо: «я, пожалуй, и учил их, но я больше так был с ними, и все мои четыре года так и прошли. Мне ничего другого не надобно было. Я им всё говорил, ничего не утаивая» (8; 57). В этих словах – глубинная суть Paideia Достоевского. Педагог не столько учил, назидал, сколько «был» с детьми – т.е. жил с ними одной жизнью, органически внося в неё свой духовный опыт и нравственную позицию (это как раз то, чего не хватает многим и многим героям Достоевского – наличия в их жизни онтологического отцовства). Мышкин действует на детей целостно – своими словами, подкреплёнными жизнеповедением, а именно полной самоотдачей. В жизнь детей он вносит ни много ни мало – опыт деятельной любви, полагая их участниками этого опыта (таков же в принципе сюжет Сони Мармеладовой, а в последнем романе Достоевского выразители Paideia – старец Зосима и его наследник Алёша; мы можем говорить об автобиографичности этого

мотива, имея в виду эпизод обучения Алея в «Записках из Мёртвого дома», а также свидетельства Анны Григорьевны о потрясающе-естественной способности её мужа находить общий язык с детьми).

*Paideia* Достоевского, воплощённая во всём его романном пятикнижии и одновременно в педоцентризме его публицистики, предельно проста (как всякая великая мысль, по определению Л.Н. Толстого): мир может выжить лишь в том случае, если в нём будут отцы и дети. Бездетность и безотцовщина – знаки вымирания человечества как рода.

Между тем цивилизация и в первую очередь русское общество уже двинулись в этом выморочном направлении. «Евангелием» так называемых «новых людей» стал роман Чернышевского «Что делать?» В контексте нашей проблемы я укажу лишь на одну весьма характерную примету его утопического мироздания: здесь нет отцов и детей (как они есть в художественном мире Гончарова и Л. Толстого, Аксакова и Достоевского...)

Русская жизнь, жизнь молодых поколений, поверивших, увы, Чернышевскому, а не Достоевскому, была духовно повреждена. По этой причине мотивы бездетности и безотцовщины в русской литературе XX века приобретают черты эсхатологического трагизма<sup>7</sup>. Таково художественное пространство, созданное Андреем Платоновым, но отблески холодного мерцания нового мира мы находим даже у Гайдара, несмотря на весь «советский» оптимизм. Онтологически свершилось то, что сами же большевики отвергли политически как перегиб: я имею в виду призыв первых лет революции к национализации детей<sup>8</sup>. Другой факт, также имевший символическое значение, – разгром в СССР в 1936 году педологии как лженауки<sup>9</sup>. Как свидетельствует новейший педагогический энциклопедический словарь – «Педагогика стала на долгие десятилетия “бездетной”».

В Русском Зарубежье в то же время получили глубокое развитие две ветви педагогической мысли, обрубленные в

советской науке<sup>10</sup>, – идеалистическая педагогика (С.И. Гессен) и религиозная педагогика (её вершинное явление – работы В.В. Зеньковского)<sup>11</sup>. Обе эти ветви исходили из традиций русской литературной классики, и прежде всего – постановки *paideia* у Достоевского (и Гессен, и Зеньковский наиболее часто обращаются именно к его творчеству). Линия сопротивления новому холодному миру прошла и через литературу Русского Зарубежья, где *paideia* получила художественную реализацию в творчестве Бунина, Шмелёва, Набокова и др. Россия – вопреки всему – восставала в художественном измерении как страна детства. Особую, возможно, даже ведущую роль в творчестве Набокова сыграл своеобразный метасюжет «воскрешения отца» с его нравственной силой, передающейся сыну как необходимая опора бытия.

В свете всего сказанного наши выводы: 1) *paideia* должна рассматриваться как доминанта творчества Достоевского, получившая продолжение в непростом движении русской культуры; 2) «бездетность» современного общества – предел, до которого оно дошло, *paideia* не может не вернуться, у нас нет другого выхода.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> См.: *Paideia: Philosophy Educating Humanity. Proceedings of XXth World Congress of Philosophy. Boston, 1998.*

<sup>2</sup> *Хайдеггер М.* Время и бытие. Статьи и выступления. М., 1993. С. 350 – 351.

<sup>3</sup> Там же. С. 351.

<sup>4</sup> *Руссо Ж.-Ж.* Педагогические сочинения: В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 22.

<sup>5</sup> Там же. С. 78.

<sup>6</sup> Это качество художественного мира Достоевского в его несколько утрированном виде дало основание современному исследователю заявить о своеобразной его ущербности: «уверенность Достоевского в идеальности детской души основана не на исследовании детского мира, не на анализе детской психологии (как это мы видим у Толстого, Чехова, Короленко), а на убеждении, что ребенок – это “образ Христов на Земле”. <...> В произведениях Достоевского нет неповторимо-детского сознания, нет картин мира, увиденных “снизу”, воспринятых ребенком; нигде нет одного ребенка, везде – взрослый,

взрослое сознание, взрослый опыт» (*Пушкарева В.С.* Дети и детство в творчестве Ф. М. Достоевского и русской литературе второй половины XIX в. Белгород, 1998. С. 87, 90.

<sup>7</sup> См.: *Горичева Т.* Сиротство в русской культуре // Вестник новой литературы. 1991. № 3; *Карасев Л.В.* Знаки покинутого детства. («Постоянное» у Андрея Платонова) // Вопросы философии. 1990. № 2.

<sup>8</sup> См.: *Соколов Б.* Спасите детей! (О детях Советской России). Прага, 1921.

<sup>9</sup> Кстати говоря, Центральный педологический институт и Биографический институт 13 ноября 1921 г. провели совместное заседание, посвященное памяти

Достоевского. Один из докладов, там прочитанных, был вскоре опубликован: *Соловьев И.* Достоевский как педолог // Детство и юность, их психология и педагогика. Педологический сборник. М., 1922.

<sup>10</sup> Возможно, последним «вздохом» была концептуальная работа: *Лосев А.* О методах религиозного воспитания (доклад в педагогическом кружке Нижегородского университета 29 марта 1921 года // Путь православия. 1993. № 1.

<sup>11</sup> См. новейшие переиздания: *Гессен С.И.* Педагогические сочинения. Саранск, 2001; *Зеньковский В. В.* Психология детства. Екатеринбург, 1995; *Он же.* Педагогика. М., 1996.

## «ДРАГОЦЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ» В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

В жизни и творчестве Достоевского особое место занимают «воспоминания драгоценные», прежде всего это воспоминания о детстве. Писатель придавал им исключительное значение, полагая их важнейшими и «влиятельнейшими» в жизни человека, в том числе и своей собственной. По воспоминаниям А. Г. Достоевской, «Федор Михайлович охотно вспоминал о своем счастливом, безмятежном детстве и с горячим чувством говорил о матери»<sup>1</sup>. Исследователи склонны оспаривать это утверждение жены писателя, ссылаясь на характер его отца<sup>2</sup>. Не вдаваясь в детали этой полемики, поскольку это не входит в нашу задачу, отметим, что иной взгляд на детство писателя убедительно обосновал О. фон Шульц, представив его счастливым и радостным<sup>3</sup>. В какой-то мере ответ на эту дискуссию дает сам Достоевский в «Дневнике писателя», признаваясь, что на каторге особенно любил «воспоминания из самого первого (своего) детства» (22; 47). И ставит своеобразную точку в этих дискуссиях, делясь впечатлениями о посещении Дарового, мест своего детства и отрочества в июле 1877 года («Дневник писателя» за 1877 г., июльско-августовский выпуск). Вспомнив свое детство, Достоевский размышляет о «случайности» современных семейств, об уголовных делах, связанных с детьми, и делает следующий вывод: «Без святого и драгоценного, унесенного в жизнь из воспоминаний детства, не может и жить человек. Иной, по-видимому, о том и не думает, а все-таки эти воспоминания бессознательно да сохраняет. Воспоминания эти могут быть даже тяжелые, горькие, но ведь и прожитое страдание может обратиться впоследствии в святыню для души. Человек вообще так создан, что любит свое прожитое страдание. Человек, кроме того, уже по самой необходимости склонен отмечать как бы точки в своем прошлом, чтобы по ним ориентироваться в дальнейшем и выводить

по ним хотя бы нечто целое, для порядка и собственного назидания. При этом самые сильнейшие и влияющие воспоминания почти всегда те, которые остаются из детства» (25; 172–173). Развернутая цитата позволяет показать, что Достоевский дает еще и автокомментарий к своему творчеству, суммируя здесь свои многочисленные высказывания о важности детских впечатлений в жизни не только отдельного человека, но и целого поколения (об этом см.: 25; 178–181, 191–192 и т.д.). Свои представления о роли детских воспоминаний в жизни человека писатель распространял и на конкретные судьбы, например, Н. А. Некрасова: это «было раненное в самом начале жизни сердце, и эта-то *никогда не заживавшая* рана его и была началом и источником всей страстной, страдальческой поэзии его на всю потом жизнь» (26; 111).

Воспоминания из детства самого писателя, как известно, непосредственно повлияли на его жизнь и творчество. Так, с воспоминанием о мужике Марее среди пьяного разгула каторжан Достоевский связывал перемены в своих убеждениях (22; 49–50). По словам жены писателя, одно из самых ранних его воспоминаний из детства – участие в деревенской церкви и «голубок пролетел через церковь из одного окна в другое»<sup>4</sup>; оно нашло прямое отражение в романе «Подросток». По свидетельству самого писателя и современных исследователей, любовь к Христу, к Евангелию, к русской истории и народу заложены были в нем еще в детстве («Не говорите же мне, что я не знаю народа! Я его знаю: от него я принял вновь в мою душу Христа, которого узнал в родительском доме еще ребенком и которого утратил было, когда преобразился в свою очередь в “европейского либерала”») (26; 152).

Наблюдения и размышления Достоевского о ценности «первоначальных

впечатлений» получили развитие в его художественном творчестве, начиная с ранних произведений, где акцентируются функции воспоминаний о детстве в становлении личности, в жизни персонажей («Бедные люди», «Неточка Незванова» и т. д.), и до последнего романа.

В «великом пятикнижии» писателя «воспоминания драгоценные» организуют «единое философско-эстетическое и литературно-художественное целое» (Г. М. Фридендер) его романов. В «Преступлении и наказании» воспоминания из детства – известный сон Родиона Раскольникова об убитой лошади: «Приснилось ему его детство, еще в их городке. Он лет семи и гуляет в праздничный день, под вечер, с своим отцом за городом» (6; 46). Этот сон-воспоминание неоднократно интерпретировался учеными прежде всего как источник убеждений персонажа<sup>5</sup>. Но воспоминание из детства – это и объективация имманентной сущности Раскольникова, и возвращение заблудившегося в лабиринтах «казуистики» героя к самому себе, к отцу (во сне «он обхватывает отца руками» – 6; 49) и – в итоге – к Отцу (Богу), о чем свидетельствует троекратное обращение к Господу (6; 50). Сон-воспоминание – это и отказ, освобождение от задуманного: «Точно нарыв на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг прорвался. Свобода, свобода! Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждения!» (6; 50).

Преображение Раскольникова во сне мотивировано письмом матери, напоминающей ему о детстве: «Вспомни, милый, как еще в детстве своем, при жизни твоего отца, ты лепетал молитвы свои у меня на коленях и как мы все тогда были счастливы!» (6; 34). И поддерживается в последнем разговоре с матерью, после принятия Раскольниковым решения о признании в убийстве: «... вот ты теперь такой же, как был маленький, так же приходил ко мне, так же и обнимал и целовал меня ...» (6; 398).

В этико-эстетическом целом романа эти преобразования героя в ребенка –

моделирование финальной развязки и в эмоциональном (экспрессия чувств, жестов, очищающих слез) и в философско-психологическом планах (воскресение взошедшего на свою «Голгофу», преодолевшего отчужденно-рассудочное отношение к миру Раскольникова, когда «вместо диалектики наступила жизнь» (6; 422), «болезнь сознания» разрешилась воскресением, возрождением в любви); это и модификация итогового прорыва к изначальному «я».

Воспоминание о детстве корреспондирует с финалом и в другом содержательно-символическом плане: озлобленная толпа из первого сна, улюлюкающая и забивающая «лошадку», разрастается в финальном сне до вселенских масштабов, «весь мир» видится зараженным «моровой язвой» и способным только к самоистреблению. Но как первый сон символизирует начало пути Раскольникова к эмоционально-нравственному преобразению, возвращению к Богу, так сон о заблудшем, зараженном «трихинами» человечестве сигнализирует о пробуждении его веры в людей, в их возрождение, возвращение к своему «детству» после «нового потопа» (так можно интерпретировать последний сон Раскольникова<sup>6</sup>). Не случайно своеобразным опровержением его грез о самоистреблении человечества выступает его же прозрение «детства человечества» в жизни людей на другом берегу реки: «Там была свобода и жили другие люди, совсем не похожие на здешних, там как бы самое время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стада его» (6; 421).

Так воспоминания о детстве оказываются одним из тех узловых центров, где сплетаются основные сюжетные и идейно-философские нити романа. Вместе с тем в истории Раскольникова просматривается символическое воплощение мотива блудного сына: «был мертв и ожил» (Лк. 15: 24), Раскольников «воскрес, и он знал это, чувствовал вполне всем обновившимся существом своим» (6; 421). Пространственный текст в этом случае декодируется по аналогии с сюжетной схемой евангельской притчи: перемещение

из «чужого» пространства в «свое». Топосы Петербурга и Сибири обретают полярный смысл: первый убивает, второй восстанавливает в человеке человека. Вместе с тем оба пространства амбивалентны и зависят от субъективного восприятия героя, совмещают «свое» – «чужое», «мертвое» – живое», «неволю» – «свободу». Такое содержательно-смысловое наполнение указанных пространств актуализирует не только (и не столько) сюжетную, сколько сакральную аналогию между романом и евангельской притчей.

Если абстрагироваться от событийного ряда, то можно сказать, что завязка «петербургского сюжета» Мышкина («Идиот») зеркальна завязке «петербургского сюжета» Раскольников: последний выходит из дома, чтобы в итоге оказаться в «чужом» пространстве, переместиться из топоса города в топос природы; Мышкин возвращается из «чужих» краев в Отечество, в «отчий дом» (к последней из рода Мышкиных – генеральше Епанчиной), перемещается из топоса природы в топос города. В сне-воспоминании Раскольников перемещается в родные места; первые осознанные воспоминания Мышкина связаны со Швейцарией, т.е. чужим пространством, чужим миром («все это чужое <...> чужое меня убивало» – 8; 48), ставшим «своим» вследствие его любви к детям и любви детей к нему. В скобках заметим, что вследствие болезни первые «драгоценные воспоминания» Мышкина – воспоминания о детях, а не о своем детстве. Сюжетное сопряжение в одном эпизоде (у Епанчиных) первых «драгоценных воспоминаний» Мышкина о его опытах христианской любви (сближение с детьми, история с Мари) с признанием, что «мысль имеет поучать» и надеется «умнее всех» прожить (8; 51, 53), позволяет увидеть в этих воспоминаниях источник его философии – философии любви-сострадания к людям – и предполагаемой деятельности (служения людям словом божьим). Однако «свой» мир оказался недостаточно восприимчивым к проповеди христианской любви. Предчувствие драматической развязки

пробуждает у князя мысли о бегстве, иначе «втянется в этот мир безвозвратно» (8; 256). Моменты душевного разлада (ощущение себя чужим «здесь», «своего» мира как «чужого»), мучительные для самого Мышкина, ассоциируются с «одним давно забытым» воспоминанием о страданиях «там», когда он чувствовал себя «чужим и выкидышем» на вечном празднике жизни (8; 351–352). Последнее воспоминание дублируется эпилогом (жертвенный отказ от бегства из «этого мира» обернулся полным отпадением от него и от самого себя, превращением в настоящего «идиота»).

Таким образом, «воспоминания драгоценные» Мышкина – узловыe эпизоды романа, фиксирующие основные этапы духовного пути героя, определяющие композицию романа. Первые воспоминания (в Петербурге, у Епанчиных) – своеобразная развязка «швейцарского» сюжета (сюжета надежды) Мышкина и, одновременно, как отмечалось выше, завязка сюжета «петербургского». Последнее – контрастное первым – воспоминание (в парке) – кульминация и моделирование развязки этого, трагического в своей сути, сюжета.

Вместе с тем актуализация «воспоминаний драгоценных» позволяет увидеть глубинную подтекстовую связь двух рассмотренных романов: история возрожденного любовью Раскольникова эксплицируется в историю Мышкина, перестрадавшего свою «каторгу», возрожденного любовью же. «Великий, будущий подвиг» Раскольникова, еще не известный ему самому, совершается Мышкиным. Такое прочтение, думается, не противоречит авторской стратегии. Более того, в тексте обнаруживаются соответствующие сигналы: герой «Преступления и наказания» стоит на пороге новой жизни, ему предстоит переход «в другой мир», он готов принять жизненные ценности Сони («Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими убеждениями...» – 6; 422). Но «мир», повторимся, не готов принять ни Мышкина, ни его подвиг – братское единение с людьми. И, как следствие этого, – переакцентирование внимания писателя на

«мир» в следующем романе «Бесы».

Симптоматично, что в каноническом тексте «Бесов» «воспоминания драгоценные» из детства у героев отсутствуют, хотя есть «предисловный рассказ» (Д. С. Лихачев) о прошлом персонажей, принадлежащий перу хроникера. Отсутствие спасительных воспоминаний из детства (последнего толчка на пути преобразования раскаяния в покаяние) оказывается губительным для главного героя романа – Николая Ставрогина. Ставрогин, в фамилии которого содержится намек на «крест» (staurys – по-гречески крест), возвращается из Швейцарии в день Воздвижения Креста Господня с мыслью о «бремени», т.е. покаянии (толчком к этому стали мучительные воспоминания, но не из детства, а из «взрослой» петербургской жизни героя, не вошедшие в канонический текст). Однако «бес» сомнения оказался сильнее готовности к «бремени», и Ставрогина ждет «не распятие Христа, а удавка Иуды»<sup>7</sup>. В широком смысле отсутствие в романе спасительных воспоминаний «из детства» (человека или человечества) знаменует общую победу «бесов», что в какой-то мере подготовлено уже событиями в «Идиоте».

Доминантным в романе «Бесы» (и судьбах персонажей) является мотив блудного сына. При этом глубинный смысл притчи – духовно-нравственное возрождение «блудного сына» – остается нереализованным. Никто из героев романа не преодолевает до конца своих заблуждений, лишь Шатову и Верховенскому-отцу открывается путь к возрождению. Шатов даже пытается проповедовать «идею» Бога и русского народа-«богоносца», но на прямой вопрос, верует ли он сам, может лишь «пролепетать»: «Я ... я буду веровать в Бога» (10; 201).

В сюжетной линии Ставрогина, на первый взгляд, воспроизводится сюжетная схема и глубинный смысл архетипа: уход из дома, развратная жизнь в Петербурге, возвращение домой с мыслью о «бремени». Но сам момент возвращения трагифицируется:

во-первых, вместо радостной встречи мать готовит сыну каверзный вопрос о жене, а ожидаемого всеми Николая Всеволодовича замещает вдруг влетевший в гостиную «совершенно не знакомый никому молодой человек» (10; 143). Во-вторых, возвращаясь, Ставрогин заготовил запасной вариант – бегство в кантон Ури в Швейцарии. Главное же в том, что не состоялось **духовное** возвращение – возрождение – Ставрогина. В результате философско-этическое содержание истории Ставрогина оказывается антиномичным сакральному смыслу притчи.

Ставрогиным Достоевский начинает изображение важнейшего для него типа «русского бездомного скитальца», восходящего, по мысли писателя, к пушкинскому Алеко (26; 137). Этот вариант блудного сына Достоевский наиболее подробно разработает в образе Версилова («Подросток»). Мотив блудного сына в этом романе эксплицируется в сюжет о «случайном семействе» с переменной функций персонажей (в роли блудного сына выступает отец, а к амплу отца-спасителя примеривается сын). Дальнейшее развитие архетипический мотив блудного сына получает в итоговом романе Достоевского «Братья Карамазовы»<sup>8</sup>.

Два последних романа («Подросток» и «Братья Карамазовы») – художественное исследование основных этапов нравственного становления личности, вследствие этого – и новый виток в развитии сюжета воспоминаний. В соответствии с этим в «Подростке» воспоминания о недавнем детстве определяют не только склад мыслей героя, но и его повествовательную структуру, где изображение настоящего буквально пронизано возвратами в прошлое. Знаковыми в структуре образа героя-повествователя (и в структуре романа) являются воспоминания о первых встречах с отцом, Андреем Петровичем Версильевым, в Москве и с матерью, «мамой», Софьей Андреевной Долгорукой, в деревенской церкви и пансионе Тушара.

Доминанта воспоминаний о первой встрече с Версильевым – полярность детских

впечатлений: радость общения с отцом и страдания в пансионе Тушара; восхищение «великим» Версиловым и сознание своей ничтожности (отца «с самого детства привык воображать себе <...> в каком-то сиянии», себя же осознал «лакеем, вдобавок, и трусом») (13; 17, 99). Аркадий нарочито подчеркивает театральность этой встречи (Версилов – Чацкий, он сам – «толковый мальчик», читающий недетскую басню Крылова; они даже обмениваются с Версиловым криками «браво»). Именно эта встреча с отцом, ставшая «фатальным толчком к его развитию», предопределила отношение Аркадия к жизни как театру (13; 62). Акт публичного воспоминания о встрече с отцом обставляется Подростком как некое театральное действие. Аркадий анонсирует его в первой, четвертой и начале шестой главах первой части своих записок. Приступая к рассказу о том, «как один отец в первый раз встретился с милым сыном» (содержание рассказа или «анекдота» прямо противоположно «заглавию»), приглашает слушателей смеяться (13; 91). Оттенок театральности присутствует и в описании жизни в Петербурге: произошедшие с ним перемены Подросток фиксирует как смену ампула и декораций («Я одет франтом <...>. У меня Матвей, лихач, рысак»; сначала снял «квартиренку», теперь у него «резиденция» у князя Сережи и т.д. – 13; 163). Описывая реальные или выдуманные эпизоды общения с разными людьми, старательно выстраивает мизансцены (например, предполагаемого шантажа Ахмаковой – 13; 306), тщательно фиксирует жест, мимику участников, постоянно признается, что «выдумал» отца, «идею», людей. Сочинив для Версилова роль жертвы, для себя Аркадий выбрал ампула его великодушного спасителя («Я ехал помочь ему сокрушить клевету, раздавить врагов» – 13; 63).

Рассматривая жизнь как театр, Подросток и вызов в Петербург воспринял как приглашение к участию в чужом спектакле и навязывание ему чужой роли («шпиона» у старого князя Сокольского). Он же полагал себя главным действующим лицом и даже постановщиком собственного «спектакля», поскольку «знал всю подноготную», владел

«документом» (письмом Ахмаковой о недееспособности отца) и «прямо мог войти» в чужой для него мир «властелином и господином даже чужих судеб, да еще чьих!» (13; 16). При этом, по словам Подростка, «все делалось во имя любви, великодушия, чести, а потом все оказалось безобразным, нахальным, бесчестным» (13; 164). В результате Аркадий оказался втянутым в тот фарс, который разыгрался вокруг старого князя Сокольского и его дочери Ахмаковой, стал невольным участником чужой игры. Катастрофическая развязка «театральной» сюжетной линии – стыд и позор Аркадия – аргументирована ошибочностью его представлений о жизни, односторонностью воспоминаний.

Другое значимое для Аркадия воспоминание, востребованное после катастрофы, – это воспоминание о встрече с матерью, «мамой», как называет ее повествователь, в шестилетнем возрасте (вернее, о двух встречах, поскольку первое воспоминание дублируется вторым, переживаемым во сне). Акценты, расставленные Аркадием при описании этих встреч, позволяют утверждать, что с «мамой» в его сознание вошел другой мир, мир церкви (в сне-воспоминании сливаются момент причастия и «голубок», «который пролетел через купол», колокольный звон, только что минувшая пасхальная неделя и «новорожденные зелененькие листочки» как символы воскресения и обновления – 13; 92, 270, 273). В воспоминаниях (и представлениях теперешнего Аркадия) мама – страстотерпица, мученица. Понять высоту ее христианского смирения Подросток сможет лишь спустя какое-то время после катастрофы и обращения (через «мamu» и ее «законного мужа», своего «законного отца» Макара Долгорукого) к миру церкви. Воспоминания из детства о встречах с «незаконным отцом» – Версиловым – и «мамой» приобретают в романе, таким образом, символический смысл пути: от мира-театра, ложных ценностей и заблуждений к миру-церкви, истинным ценностям и прозрению, преображению, от «безобразия» к «благообразию».

В романе «Братья Карамазовы» открытая

Достоевским функция воспоминаний из детства обретает концептуальное завершение. Авторитетом личного опыта (самого будущего Зосиму спасло от убийства воспоминание о брате Маркеле, утверждавшем духовное (и душевное) родство всего сущего в мире) старец Зосима в своих поучениях, записанных Алешей Карамазовым, утверждает абсолютную и непреходящую ценность «воспоминаний драгоценных», вынесенных из «дома родительского» (14; 263 – 264). Алеша Карамазов находит путь к храму благодаря живущему в нем первому детскому воспоминанию о матери, которая протягивает его «из объятий своих обеими руками к образу как бы под покров Богородице» (14; 17). А в знаменитой речи у Илюшиного камня Карамазов формулирует основные принципы духовного становления и воспитания личности и восстановления «человека в человеке»: «Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь» (15; 195). Отметим, что Алеша реализует проповедническую и учительскую миссию Мышкина (прежде всего в книге десятой, «Мальчики»), пройдя свой путь испытаний и сомнений, душой со-прикоснувшись «мирам иным», прочувствовав (со-пережив) единство «миров божьих», единство «всех, всё и вся» (после видения Каны Галилейской).

Двойной опыт спасения человека (Зосимы и Алеши), завершающая пятикнижие речь Алеши, обращенная к мальчикам, о воскресении в любви и через любовь – оптимистический итог этико-эстетических исканий Достоевского, вобравших в себя и личный опыт писателя о преображающем воздействии «драгоценных воспоминаний», вынесенных, прежде всего,

из детства, на человека.

Такой взгляд на роль воспоминаний о детстве близок и Л. Н. Толстому. В романах «Война и мир», «Воскресение» воспоминания о детстве посещают героев в моменты духовных и физических потрясений, переживаются как обновление, второе рождение: «После перенесенного страдания князь Андрей чувствовал блаженство, давно не испытанное им. Все лучшие, счастливейшие минуты в его жизни, в особенности самое дальнее детство, когда его раздевали и клали в кроватку, когда няня, убаюкивая, пела над ним, когда, зарывшись головой в подушки, он чувствовал себя счастливым одним сознанием жизни, – представлялись его воображению, даже не как прошедшее, а как действительность»<sup>9</sup>.

Это ощущения князя Андрея; подобное же переживает и Нехлюдов: «Он не только вспомнил, но почувствовал себя таким, каким он был тогда, когда он четырнадцатилетним мальчиком молился Богу, чтоб Бог открыл ему истину, когда плакал ребенком на коленях матери, расставаясь с ней и обещаясь ей быть всегда добрым и никогда не огорчать ее ...» (XXXII, 224 – 225).

Это воспоминание-ощущение себя ребенком знаменует преображение героев, сигнализирует о начале их нового пути. Для князя Андрея это путь исцеления от гордыни, ревности, жажды мести, победы христианских чувств; в конечном итоге, это путь Болконского к Богу, к победе над страхом смерти: «Сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к врагам, да, та любовь, которую проповедовал Бог на земле, которой меня учила княжна Марья и которой я не понимал; вот отчего мне жалко было жизни, вот оно то, что еще оставалось мне, ежели бы я был жив. Но теперь уже поздно. Я знаю это!» (XI, 256).

Для Нехлюдова – окончательное и полное избавление от сомнений, собственнических инстинктов, сожалений о прошлом и ощущение «неперестающей радости освобождения и чувство новизны» (XXXII, 232), обращение в итоге к Христу.

Резюмируя, отметим, что развязка романских историй Болконского и Нехлюдова рождает ассоциации с историей блудного сына, символично-аллегорический смысл которой и истолковывается как возвращение к Отцу небесному. Впрочем, и основные события в жизни Андрея Болконского соотносимы с историей блудного сына: отъезд из дома отца на войну, готовность пожертвовать близкими ради славы и торжества над людьми («расточительство»), возвращение к отцу после ранения; отъезд из своего имения в Петербург, разочарование в службе, утрата любви, поглощенность мстительным чувством к Анатолию («растрата»), преображение после ранения на Бородинском поле («возвращение»). Просматривается аналогия с архетипом и в истории Нехлюдова: утрата духовности, победа животного начала («уход»), развратная жизнь, постепенное преображение («возвращение»). Как видим, можно говорить об устойчивом интересе писателя к евангельской притче, особенно к финальной ее части. Трансформируя и усложняя сюжет архетипа, Толстой развертывает его каждый раз в соответствии со своим персональным мифом.

Следует добавить, что и для Пьера давние воспоминания (во сне, о старичке учителе географии с его «живым» глобусом) станут катализатором его постижения жизни как движения и движения к Богу. Повторяемость воспоминаний о детстве в романах Л. Толстого – это и реализация писателем евангельской максимы «будьте как дети», и свидетельство исключительной значимости

самых первых впечатлений для нравственного возрождения его героев.

Анализ воспоминаний, сквозных, лейтмотивных в произведениях Достоевского, позволяет увидеть еще один сквозной мотив, объединяющий романы писателя в единое целое, – мотив блудного сына. Проведя героев своих романов по пути заблуждений, сомнений, возвращений к церкви и к Богу, Достоевский в финале пятикнижия удостоивает двух из них (Зосиму и Алешу Карамазова) лицезреть Отца небесного.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1981. С. 101.

<sup>2</sup> Там же. С. 423.

<sup>3</sup> Шульц О. Светлый, жизнерадостный Достоевский: Курс лекций. Петрозаводск, 1999. С. 54 – 83.

<sup>4</sup> См. об этом: Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. М.; Пг., 1922. С. 66.

<sup>5</sup> Касаткина Т. А. Категория пространства в восприятии личности трагической мироориентации (Раскольников) // Достоевский: Материалы и исследования. СПб., 1994. Т. 11. С. 84.

<sup>6</sup> Торон П. Достоевский: история и идеология. Тарту, 1997.

<sup>7</sup> Захаров В. Н. Символика христианского календаря в произведениях Достоевского // Новые аспекты в изучении Достоевского: Сборник научных трудов. Петрозаводск, 1994. С. 46.

<sup>8</sup> Шатин Ю. В. Архетипические мотивы и их трансформация в новой русской литературе // «Вечные» сюжеты русской литературы («блудный сын» и др.). Новосибирск, 1995. С. 37, 40.

<sup>9</sup> Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1928 – 1959. Т. IX. С. 254 – 255. Далее цитируется это издание с указанием тома (римскими цифрами) и страниц в тексте.

«ВОСПОМИНАНИЕ СПАСЁТ ЧЕЛОВЕКА!»:  
ПО ПОВОДУ ЗНАЧЕНИЯ ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА  
В ТВОРЧЕСТВЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Общеизвестно, что описания природы в творчестве Достоевского очень скудны. Тем не менее у писателя встречаются некоторые незабываемые для читателей изображения русской жизни, связанные с природой, с деревней: это воспоминания Вареньки о своем деревенском детстве в «Бедных людях», это небольшой рассказ Ивана Петровича о жизни в селе Васильевском в «Униженных и оскорбленных», это автобиографическое описание природы и детства самого писателя в рассказе «Мужик Марей». Все они, несомненно, связаны с переживаниями Федора Михайловича в детстве в Даровом и передаются через призму воспоминаний персонажей или повествователя.

В творчестве Достоевского почти не существует объективных описаний природы. Они чаще всего пронизаны романтической или сентиментальной эмоцией персонажа или повествователя. Варенька пишет: «Солнце светит кругом яркими лучами, и лучи разбивают, как стекло, тонкий лед. Светло, ярко, весело! В печке опять трещит огонь; подсядем все к самовару, а в окна посматривает продрогшая ночью черная наша собака Полкан и приветливо махает хвостом. Мужичок проедет мимо окон на бодрой лошадке в лес за дровами. Все так довольны, так веселы!... Ах, *какое золотое было детство мое!*.. Вот я и расплакалась теперь, как дитя, увлекаясь моими воспоминаниями. Я так живо, так живо всё припомнила, так ярко стало передо мною всё прошедшее, а настоящее так тускло, так темно!.. Чем это кончится, чем это всё кончится?» (1; 84, курсив наш – Т. К.).

В этих словах Вареньки мы отметим два общих аспекта, относящихся ко всем воспоминаниям у Достоевского: с одной стороны, прошедшая жизнь на лоне природы

представляется *золотой*, с другой стороны, настоящая жизнь – *тусклой* и *темной*. Контраст между этими двумя сторонами свойствен ситуации воспоминания у Достоевского.

Герой-повествователь Иван Петрович в «Униженных и оскорбленных», осознавая близость смерти, припоминает прошедшую жизнь в деревне так: «Что за чудный был сад и парк в Васильевском, где Николай Сергеевич был управляющим; в этот сад мы с Наташей ходили гулять, а за садом был большой, сырой лес, где мы, дети, оба раз заблудились... *Золотое, прекрасное время!* Жизнь сказывалась впервые, таинственно и заманчиво, и так сладко было знакомиться с нею» (3; 178, курсив наш – Т. К.).

В «Мужике Марее» автор в тюрьме – в несвободном скованном состоянии – вспоминает детство перед рассказом о встрече с Мареем: «Мало-помалу я и впрямь забылся и неприметно погрузился в воспоминания. Во все мои четыре года каторги я вспоминал непрерывно всё мое прошедшее и, кажется, в воспоминаниях пережил всю мою прежнюю жизнь снова. <...> На этот раз мне вдруг припомнилось почему-то одно незаметное мгновение из моего первого детства, когда мне было всего девять лет отроду – мгновенье, казалось бы, мною совершенно забытое» (22; 47).

В памяти мальчика глубоко сохранилось это детское переживание, которое незаметно всю жизнь поддерживало его морально. Повествователь в своей встрече с Мареем отмечает: «Значит, залегла же она в душе моей неприметно, сама собой и без воли моей, и вдруг припомнилась тогда, когда было надо; припомнилась эта нежная, материнская улыбка бедного крепостного мужика, его кресты, его покачивание головой: “Ишь ведь, испужался, малец!”»

(22; 49). В связи с этим вспоминается отрывок из «Дневника писателя» за 1880 год – известное высказывание писателя о Татьяне в «Евгении Онегине» Пушкина. Там Достоевский, акцентируя в Татьяне «соприкосновение с родиной, с родным народом, с его святынею», отмечает: «у ней и в отчаянии и в страдальческом сознании, что погибла ее жизнь, все-таки есть нечто твердое и незыблемое, на что опирается ее душа. Это ее воспоминания детства, воспоминания родины, деревенской глуши, в которой началась ее смиренная, чистая жизнь...» (26; 143).

Здесь чувствуется ориентация на осмысление воспоминания детства, которое у Достоевского представляет огромную силу, воспитывающую, образующую личность, поддерживающую ее даже в кризисе, в отчаянии: это «нечто твердое и незыблемое, на что опирается душа». Не только соприкосновение с природой, но и семейная жизнь, встреча, счастливое и радостное событие в детстве отпечатываются глубоко в памяти человека и остаются подспудно поводом, побуждающим его к определенному поступку.

Таким поводом служит для несчастной Катерины Ивановны в романе «Преступление и наказание» «похвальный лист». Он в романе появляется три раза. Первый раз читатель узнает о нем из исповеди Мармеладова: «похвальный лист до сих пор у ней в сундуке лежит, и еще недавно его хозяйке показывала. И хотя с хозяйкой у ней наибеспрерывнейшие раздоры, но хоть перед кем-нибудь погордиться захотелось и сообщить о счастливых минувших днях. И я не осуждаю, не осуждаю, ибо сие последнее у ней и осталось в воспоминаниях ее, а прочее всё пошло прахом! Да, да; дама горячая, гордая и непреклонная» (6; 15).

Второй раз «похвальный лист» появляется в сцене поминок по Мармеладову: Катерина Ивановна хвастается им для доказательства своего происхождения – «благородного», «можно даже сказать, аристократического» – и, опираясь на него, грезит о создании пансиона: «Похвальный лист этот, очевидно,

должен был теперь послужить свидетельством о праве Катерины Ивановны самой завести пансион» (6; 298).

Третий раз – в сцене смерти Катерины Ивановны: «И каким образом этот “похвальный лист” очутился вдруг на постели, подле Катерины Ивановны? Он лежал тут же, у подушки; Раскольников видел его» (6; 334).

«Похвальный лист» для Катерины Ивановны – символ ее «золотого времени» в воспоминаниях о юности, мечта, греза и единственное средство для «восстановления» себя в ее постоянно униженном положении. Вероятно, то же самое для Лизы в «Записках из подполья» – любовное письмо к ней от какого-то медицинского студента, которое она показала «подпольному». Он, хотя и циник, точно понял смысл внезапного поступка Лизы, комментируя его так: «Но всё равно; я уверен, что она всю жизнь его хранила бы как драгоценность, как гордость свою и свое оправдание, и вот теперь сама в такую минуту вспомнила и принесла это письмо, чтоб наивно погордиться перед мной, восстановить себя в моих глазах, чтобы и я видел, чтобы и я похвалил» (5; 163).

Для типа «подпольного» героя воспоминание означает совсем другое. Сама сюжетная структура повести «Записки из подполья» представляет собой воспоминание о его жизни и, к тому же оборотной стороны «живой жизни». По словам антигероя, подпольного человека, «мы все отвыкли от жизни <...>. Даже до того отвыкли, что чувствуем подчас к настоящей “живой жизни” какое-то омерзение, а потому и терпеть не можем, когда нам напоминают про нее» (5; 178).

Анализируя значение воспоминания или памяти вообще в творчестве Достоевского, нельзя пропустить ряд героев, для которых воспоминание или память представляются чем-то негативным, и даже – позором, стыдом и мучительным кошмаром. Таких персонажей у Достоевского больше, чем героев, у которых воспоминание носит положительный характер. Например, воспоминание Настасьи Филипповны о

девичестве пропитано позором и унижением, причиненным ей Тоцким, и определяет в дальнейшем противоречивость ее поступков. Николай Ставрогин, умевший «властвовать над воспоминаниями и стать к ним бесчувствен» (11; 21), в конечном счете замучился воспоминанием о Матрёше. Закладчик из «Кроткой» томился мрачным воспоминанием о потере репутации и выходе из полка. Это позорное прошлое побудило его к странным поступкам в отношении к кроткой жене.

В этом смысле показателен кошмарный сон Раскольников о забитой «клячонке», где он видит себя ребенком. Можно сказать, что это не простой сон, а очень близкое к реальности его собственное переживание: «он лет семи и гуляет в праздничный день, под вечер, с своим отцом за городом. Время серенькое, день удушливый, местность совершенно такая же, как уцелела в его памяти: даже в памяти его она гораздо более изгладилась, чем представлялась теперь во сне» (6; 46). Этот сон Раскольникова несомненно связан с воспоминанием самого Достоевского о юности в «Дневнике писателя» за январь 1876 года – в «эпизоде с фельдьегерем»: «Эта отвратительная картинка осталась в воспоминаниях моих на всю жизнь. Я никогда не мог забыть фельдьегера и многое позорное и жестокое в русском народе как-то поневоле и долго потом склонен был объяснять уж, конечно, слишком односторонне. <...> Картина эта являлась, так сказать, как эмблема, как нечто чрезвычайно наглядно выставлявшее *связь причины с ее последствием*» (22; 29, курсив наш – Т.К.).

Автор замечает: «Наши дети воспитываются и возрастают, встречая отвратительные картины. Они видят, как мужик, наложив непомерно воз, сечет свою завязшую в грязи клячу, его кормилицу, кнутом по глазам, или, как я видел сам, например, да еще и недавно, как мужик, везший на бойню в большой телеге телят, в которой уложил их штук десять, сам преспокойно сел тут же в телегу на теленка. Ему сидеть было мягко, точно на диване с пружинами, но теленок, высунув язык и

вылупив глаза, может, издох, еще не доехав до бойни. <...> такие картинки, несомненно, зверят человека и действуют развратительно, особенно на детей» (22; 26 – 27).

Достоевский увидел в воспоминаниях «связь причины с ее последствием» и был глубоко озабочен влиянием этих последствий на воспитание и образование детей.

В «Дневнике» за 1876 – 1877 год Достоевский освещает дела Кронеберга и родителей Джунковских и одновременно рассуждает о «случайном семействе». При этом писатель озабочен вопросом влияния впечатления, памяти детей на их будущее. В связи с делом Кронеберга («отец высек ребенка, семилетнюю дочь, слишком жестоко») писатель сомневается в справедливости обвинительного приговора отцу с возможностью ссылки в Сибирь: «Спрашивается, что осталось бы у этой дочери, теперь ничего не смыслящего ребенка, потом в душе, на всю жизнь, и даже в случае, если б она была потом всю жизнь богатою, “счастливою”? Не разрушено ли б было семейство самим судом, охраняющим, как известно, святыню семьи?» (22; 51). К тому же Достоевский озабочен открытием перед публикой «секретных пороков ребенка», семилетнего: «какой-то след непременно останется на всю жизнь. И не только в душе ее останется, но, может быть, отразится и в судьбе ее» (22; 51).

По поводу дела Джунковских (родителей, обвиняемых в жестоком обращении с тремя малолетними детьми в возрасте тринадцати, двенадцати и одиннадцати лет и тем не менее оправданных) Достоевский, указывая на типичность такого преступления в русских семействах, где оно часто считается «чрезвычайной обыкновенностью, обыденностью» (25; 181), пронизательно усматривает в них тип «ленивого семейства», за возникновение которого, по словам писателя, ответственны ленивые отцы, которых «несравненно больше», чем «прилежных» в эпоху «разлагающегося состояния общества», порождающего «леность и апатию». По поводу возникновения «случайного семейства» отмечается: «при лености отцов к семейству,

детки уже в высшей степени оставлены на случайность! Нужда, забота отцов отражаются в их сердцах с детства мрачными картинами, воспоминаниями иногда самого отвратительного свойства» (25; 180).

Здесь внимание писателя опять сосредоточивается на влиянии памяти, воспоминания на будущую жизнь детей: «Дети вспоминают до глубокой старости малодушие отцов, ссоры в семействах, споры, обвинения, горькие попреки и даже проклятия на них <...>. И долго потом в жизни, может, всю жизнь, человек склонен слепо обвинять этих прежних людей, ничего не вынеся из своего детства, чем бы мог он смягчить эту грязь *воспоминаний*...» (там же). Беспокойство Достоевского идет дальше: «ведь большинство-то их уносит с собою в жизнь не одну лишь грязь воспоминаний, а и самую грязь, запасется ею даже нарочно, карманы полные набьет себе этой грязью в дорогу, чтоб употребить ее потом в дело и уже не с скрежетом страдания, как его родители, а с легким сердцем...» (там же).

Так, беспокоясь о деградации общества, писатель утверждает: «Без зачатков положительного и прекрасного нельзя выходить человеку в жизнь из детства, без зачатков положительного и прекрасного нельзя пускать поколение в путь» (25; 181).

Одна из главных тем «Дневника писателя» за 1876 – 1877 гг. заключается в осмыслении воспоминания, в частности, детского, и она корреспондирует с одной из главных идей романа «Братья Карамазовы».

Из всех героев «случайной семейки» Карамазовых именно Алёша придает исключительное значение воспоминанию, памяти младенчества для дальнейшей жизни человека. Это воспоминание о лице его матери, запечатлённое в ребячьей памяти: «оставшись после матери всего лишь по четвертому году, он запомнил ее потом на всю жизнь, ее лицо, ее ласки, «точно как будто она стоит предо мной живая»» (14; 18). Здесь повествователь подчеркивает глубокое значение воспоминания младенчества: «Такие воспоминания могут запомниться (и

это всем известно) даже и из более раннего возраста, даже с двухлетнего, но лишь выступая всю жизнь как бы светлыми точками из мрака, как бы вырванным уголком из огромной картины, которая вся погасла и исчезла, кроме этого только уголочка» (там же).

Повествователь намекает даже на возможность выбора Алешей пути в монастырь как следствия воспоминания младенчества: «Из воспоминаний его младенчества, может быть, сохранилось нечто о нашем подгородном монастыре, куда могла возить его мать к обедне. Может быть, подействовали и косые лучи заходящего солнца пред образом, к которому его протягивала его кликуша-мать. Задумчивый он приехал к нам тогда, может быть, только лишь посмотреть <...> и – в монастыре встретил этого старца ...» (14; 25 – 26).

Таким образом, воспоминание младенчества повлияло на судьбу Алеши. Отмечу, что в противоположность младшему брату, Иван и Дмитрий лишены детских воспоминаний. Даже странно, что у Ивана, который всего на три года старше Алеши, имеющего с ним одну мать, не осталось никакого воспоминания о ней. Возможно, что просто по складу ума Ивана для него ничего не значило воспоминание детства.

В конце рассмотрения нашей темы отметим одну глубокую сторону идейной сущности романа «Братья Карамазовы»: речь идет об антропологии писателя. Старец Зосима высказывается по поводу встречи со священной историей в детстве: «Из дома родительского вынес я лишь драгоценные воспоминания, ибо нет драгоценнее воспоминаний у человека, как от первого детства его в доме родительском, и это почти всегда так, если даже в семействе хоть только чуть-чуть любовь да союз. Да и от самого дурного семейства могут сохраниться воспоминания драгоценные, если только сама душа твоя способна искать драгоценное» (14; 263 – 264).

Как будто во исполнение завета Зосимы, звучит в самом конце романа известная речь Алеши у камня перед мальчиками: «Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и

здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение» (15; 195).

Здесь мы слышим последнее слово-наказ

Федора Михайловича: «Воспоминание спасет человека!» И вслед за этим слова Алеши Карамазова про покойного Илюшу – «Не забудем же его никогда, вечная ему и хорошая память в наших сердцах, отныне и во веки веков! <...> И вечная память мертвому мальчику!» – приводят нас к светлой мысли, что силами памяти, воспоминания возможно даже воскрешение из мертвых. По словам Алеши, все мы «непрерывно восстанем, непрерывно увидим и весело, радостно расскажем друг другу всё, что было» (15; 196 – 197). «Воспоминание» в творчестве Достоевского служит важным мостом между двумя мирами.

## РОЛЬ ДЕТСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ В СТАНОВЛЕНИИ СОЗНАНИЯ АРКАДИЯ ДОЛГОРУКОГО В РОМАНЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ПОДРОСТОК»

Записки Аркадия Долгорукого – это рефлексивное описание событий прошлого. Но художественное прошлое романа «Подросток» неоднородно. Оно включает в себя события «с девятнадцатого сентября прошлого года» (основное действие) и детские воспоминания героя. Эти факты прошлого перерабатываются в свете всего жизненного опыта Подростка на момент написания истории своих «первых шагов» (настоящее время). Таким образом, Ф. М. Достоевский создает сверхсюжет, раскрывающий психобиографию героя.

Цель данной статьи: рассмотреть роль детских воспоминаний в становлении сознания Аркадия Долгорукого.

Первое из детских воспоминаний героя связано с фамилией Долгорукий. Контекст этого воспоминания – трехступенчатый: номинация – воспоминание – события, породившие переживание. Номинация: «...я – законнорожденный, хотя я в высшей степени незаконный сын...» (13; 6). Эта номинация отражает основное противоречие в сознании героя. Отталкиваясь от этой точки автор ведет нас к эмоциональной оценке своего положения персонажем в связи с испытаниями, которые относятся к дороманному времени произведения. Эта альтерация выполняет функцию опережающего отражения, то есть вначале Достоевский показывает, как на Аркадии отразилась его «законная незаконнорожденность», и только далее события, повлекшие данное положение. Такое построение выполняет предваряющую функцию.

Это воспоминание состоит из нескольких фрагментов, точнее сказать, это несколько воспоминаний, каждое из которых показывает обострение восприятия своей незаконнорожденности Подростком. Такую

градацию легко проследить, рассмотрев эволюцию его ответа на вопрос, является ли он князем Долгоруким. От абстрактного «*просто Долгорукий*» через «сын дворового человека, бывшего крепостного» к конкретному и правдивому «незаконный сын моего бывшего барина, господина Версилова». В этой градации отражен процесс осознания героем своего социального положения и попытка кинуть дерзкий вызов общепринятому в окружающем его мире.

Не последнюю роль в этом процессе занимают герои-«разъяснители», помогающие понять, во-первых, что если ты «*просто Долгорукий*», то ты – «дурак»; а, во-вторых, что не надо «праздновать» свою незаконнорожденность. Таким образом, создается эффект двойной оценки: через реплики Аркадия (самооценка) и через реплики других героев (общественная оценка).

В тексте романа дается восприятие Подростком этих переживаний как в детстве, так и в подростковом возрасте: «...редко кто мог столько вылиться на свою фамилию, как я... Это было, конечно, глупо...» (13; 7). Постоянная переоценка событий прошлого, склонность к самоанализу говорит о важности в формировании личности Аркадия детских воспоминаний. Таким образом, они входят не только в прошлое героя, но и являются характерообразующей частью настоящего.

Второе воспоминание дано в разговоре с князем Сокольским перед приездом его дочери. Эта альтерация важна для понимания отношения Аркадия к женщинам вообще и к Ахмаковой в частности.

В воспоминании о том, как Подросток впервые увидел «женскую наготу», менее всего говорится о женщине. Основной

акцент смещен на тему жертвы. И в роли жертвы в альтерации выступают различные персонажи: Аркадий (жертва Ламберта в пансионе Тушара) – Ламберт (жертва обмана матери и аббата Риго) – аббат Риго (Ламберт запугивает его ножом) – канарейка (расстрел в упор Ламбертом) – проститутка (Ламберт избил хлыстом). Эта цепочка выстраивается как ассоциативный ряд героя, в котором доминирующая ассоциация: женщина – жертва. Данная ассоциация переходит из детского воспоминания в размышления Подростка об Ахмаковой: «Да, я ненавидел эту женщину, но уже любил ее как мою жертву...» (13; 63).

Интересно, что каждому эпизоду воспоминания соответствует определенное негативное ощущение героя: прислуживание Ламберту – униженность; вид объятий аббата Риго и Ламберта после конфирмации – зависть; рассказы Ламберта – страх; избивание Ламбертом проститутки – злоба; Ламберт «схватил и ткнул меня в ляжку» – физическая боль. Переживания Аркадия нанизываются друг на друга, но переносятся лишь на один объект: «С тех пор мне мерзко вспомнить о нагоде...» (13; 28). Таким образом, в этой альтерации показана алогичность в развитии внутреннего мира героя.

Воспоминание-дуплет, данное в контексте изложения персонажем своей «идеи», основной функцией имеет показать противоречивость ее реализации в действительности.

Первое воспоминание в этой альтерации состоит из нескольких микротем: двойничества, жертвы, последняя включает в себя и тему отношения к женщине. Несмотря на значительный интеллектуальный разрыв между Аркадием и бывшим студентом, в них много общего: нарушение общепринятых норм, стремление к пошлой оригинальности, цинизм, однообразие. Появление этого второстепенного персонажа помогает герою взглянуть на себя и на свою «идею» со стороны.

Кружок, окружающий в вагоне бывшего студента, характеризуется как «дрянная компания». С этим кружком Подростка

объединяет падность на внешнюю оригинальность, проявляющуюся в «нарушении общепринятых и оказавшихся приличий» (13; 78). Эта фраза в тексте повторяется дважды: первый раз – для объяснения причины, почему герою понравился «пивший молодой человек»; второй раз – причины, почему Аркадий участвовал в уличных забавах бывшего студента. В сознании героя отход от общепринятости ассоциируется с наличием «затаенной идеи». Но со временем Аркадий осознает, что в молодом человеке нет оригинальности, а лишь однообразие. На это же нацелена и речевая характеристика персонажа: в тексте нет ни одной его реплики, кроме периодического повторения «какого-то звука, вроде “тюр-люр-лю!”» (13; 78). Через осознание однообразия в мышлении бывшего студента ко времени написания записок герой понимает, что однообразие проявляется и в слепом следовании идее, которая в конце этого воспоминания характеризуется, как «нечто неподвижное, всегдашнее, сильное, которым страшно занят» (13; 79).

Это воспоминание продолжает тему ненависти к женщинам. Но в этой альтерации дана двойная оценка уличных забав, жертвами которых становились «женщины из порядочных». Первоначальное восприятие Аркадием последнего вечера на Тверском бульваре: «В тот вечер я очень досадовал, на другой день не так много, а на третий совсем забыл» (13; 78). По прошествии двух с половиной месяцев Подросток переоценивает свое поведение: «...и до того мне стало вдруг стыдно, что буквально слезы стыда потекли по моим щекам. Я промучился весь вечер, всю ночь, отчасти мучаюсь и теперь. Я понять сначала не мог, как можно так низко и позорно тогда упасть и, главное – забыть этот случай, не стыдиться его, не раскаиваться» (13; 79). В этой переоценке событий прошлого заключается одна из сторон самовоспитания Аркадия.

Второе воспоминание в данной альтерации, посвященное подкинутой девочке Ариночке, своей целью имеет

раскрыть противоположную тенденцию в реализации своей идеи героем.

Толчком к динамическому развитию действия в этом воспоминании становится не появление ребенка в доме опекуна, а решение Николая Семеновича отослать девочку в воспитательный дом. Происходит столкновение двух сознаний, в ходе которого реализуется попытка самоутверждения главного героя, о чем свидетельствует речевая характеристика Аркадия в этом отрывке: «...я вдруг объявил ему, что беру девочку на свой счет» (выделено нами – А. К.) (13; 80). Эмоционально-семантический стой фразы отражает торжественное настроение, с которым Подросток бросает вызов Николаю Семеновичу. И далее, говоря об исходе спора, Аркадий пишет: «Однако сделалось по-моему...» (выделено нами – А. К.) (13;80). Герой, идентифицируясь, противопоставляет себя окружающему миру.

Подросток самоутверждается не только вербально (в споре), но и действенно, когда он берет на себя ответственность за Ариночку, пытаясь повлиять (пусть и к лучшему) на судьбу другого человека.

Как и в первом воспоминании этого дуплета, здесь дана двойная оценка детских переживаний: во время этих событий и немного спустя. Изначальное восприятие связано с эмоциональным состоянием героя: «Ну, поверят ли, что я не то что плакал, а просто выл в этот вечер, чего прежде никогда не позволял себе...» (13; 81). И дано более позднее восприятие, носящее рациональный характер, в ракурсе реализации «идеи» Подростка: «...если я буду так сбиваться в сторону, то недалеко уеду» (13; 80).

Эти два воспоминания отражают амбивалентные попытки самоутверждения героя через взаимодействие с «жертвами»: в первом случае – путем унижения; во втором – сострадания. Это противоречие указывает на двойственность идеи в сознании героя.

Самое яркое воспоминание Подростка – первая встреча с отцом. Оно включено в единое повествование с рассказом о пансионе Тушара. Такое близкое нахождение этих воспоминаний создает контраст, объясняющий формирование любви-

ненависти по отношению к Версиллову в сознании Подростка.

Воспоминание о встрече с отцом играет конфликтообразующее значение. Отнесенное к дороманному времени, оно является исходной точкой не только во внутреннем конфликте героя, но и всего произведения. Это соответствие вполне логично в виду того, что художественный мир освещается через голос Аркадия.

И хотя Подросток повествует в присутствии многих лиц (мать, Версильов, Татьяна Павловна, Лиза), направлен его рассказ-упрек, раскрывающий непрощеную обиду, отцу. Поэтому его монолог часто прерывается ироничными комментариями Версильова. И если в этом столкновении сознаний Подростку свойственна гиперболизация значения происшедших событий, то Версильов вербально и невербально указывает на их незначительность.

Неуверенность, отступления от основной линии повествования в речи героя соответствует до конца не сформировавшемуся отношению к отцу. Вместе с этим установка Подростка на торжественный и «самый развязанный вид», которая должна служить внешнему проявлению безразличия к событиям, о которых герой повествует, вступает в конфликт с реальными переживаниями персонажа. В результате этого противоречия герой выступает в глупо-торжественном виде, а речь его пронизана жалостью к себе.

Тем же торжественным тоном героем дается псевдоустановка: «Я именно хочу, чтоб все смеялись» (13; 91). При этом Подросток желает проявления абсолютно серьезного слушания, что и получает ото всех присутствующих, кроме Версильова, который как бы соглашается вступить в эту игру. Аркадий вначале повествования пытается иронизировать над собой, но погружаясь в свои воспоминания, он становится сосредоточенно-серьезным, чем и знаменуется его проигрыш в этом дискурсе-дуэли, когда оружие в форме спокойной иронии остается только в руках Версильова.

Саморазоблачение героя происходит еще до его повествования о встрече с отцом, когда Версиров говорит: «Я знаю, что ты всех нас любишь...» (13; 91). После этой фразы активизируется доминанта в сознании Подростка – любовь к отцу: «Вы, конечно, и тут угадали по лицу, что я вас люблю?» (13; 91). Чтобы переключить внимание с этого вопроса-признания, герой вновь неуместно прибегает к смеху: «Ну, а я так по лицу Татьяны Павловны давно угадал, что она в меня влюблена. Не смотрите так зверски на меня, Татьяна Павловна, лучше смеяться! Лучше смеяться!» (13; 91). Такой абсурдный перенос свидетельствует о хаотичности и полемичности сознания героя. Попытка Аркадия дать остроумный ответ выставляет его в дерзко-глупом виде.

Это воспоминание наполнено множеством отступлений, соответствующих этапам подготовки к встрече с отцом: о встречах с матерью, о жизни у Андрониковых, о роли Татьяны Павловны в детстве Подростка. Эти отступления дают тот фон, на котором встреча с отцом становится наиболее ярким впечатлением детства Аркадия.

Воспоминания о встречах с матерью контрастируют с воспоминанием о встрече с отцом. Во-первых, несколькими приездами матери противопоставляется единственная встреча с отцом. Во-вторых, если мать сама приезжала к Аркадию (целенаправленный приезд), то к отцу его привозили (встреча мимоходом). В-третьих, место действия: деревня (природа, церковь) и Москва (дом Фанариотовой, театр) – как отражение внутренних миров матери и Версирова). Встречи с матерью не оставили в сознании героя запоминающихся впечатлений, кроме того момента, «когда меня в тамошней церкви раз причащали и вы приподняли меня принять дары и поцеловать чашу; это летом было, и голубь пролетел насквозь через купол, из окна в окно...» (13; 92). Впечатляющим моментом становится не образ матери, а образ голубя, в связи с которым ассоциативно в памяти героя осталась и мать.

Следующее отступление посвящено жизни в доме Андрониковых, где происходит

духовно-эстетическая подготовка к встрече с отцом. Воспитание в этой семье помогло Аркадию обратить на себя внимание отца чтением басни Крылова. И формальная, внешняя, подготовка осуществляется Татьяной Павловной: «Я все носил курточки; тут вдруг меня одели в хорошенький синий сюртучок и в превосходное белье. Татьяна Павловна хлопотала около меня весь тот день и покупала мне много вещей; я же все ходил по всем пустым комнатам и смотрел на себя во все зеркала» (13; 93).

Встреча Аркадия с отцом на лестнице, когда Андрей Петрович «протянули только: а! и даже не остановились» (13; 93), создает контраст между пышной подготовкой к этой встрече и версировским безразличием.

С любованием Аркадий описывает внешность тогдашнего Версирова, противопоставляя его наружному облику отца спустя девять лет. В этой антитезе отразилось изменение не только в Версирове, но и в отношении к нему Аркадия: от любования к иронической жалости, от любви к обиде. Ответ Версирова не менее ироничен: «... и я тебя припоминаю ясно: и клянусь тебе, ты тоже проиграл в эти девять лет» (13; 94).

Эта одинаковая оценка друг друга существует не только в подростковых, но и в детских воспоминаниях главного героя, когда выстраивается параллель между чтением басни Крылова Аркадием перед отцом и выступлением Версирова в театре Витовтовой, и они оба соответственно кричат «браво!».

Как и во многих других детских воспоминаниях Подростка, в этом присутствует двойная оценка событий: от изначального любования («от улыбки вашей только взвеселилось мое сердце»), восхищения («Ах, как хорошо, настоящий Чацкий!»), нежности («так бы вас и расцеловал»), восторга от отца («я был в восторге, в восторге до слез») к непониманию, почему он вызвал такие чувства («Слезы-то восторга зачем?»), и обиде.

Далее в повествование Подростка входит воспоминание о жизни в пансионе Тушара.

Связкой этих двух воспоминаний становится желание Аркадия бежать из пансиона к отцу: «Тем и кончилось, что свезли меня в пансион, к Тушару, в вас влюбленного и невинного, Андрей Петрович, и пусть, кажется, глупейший случай, то есть вся-то встреча наша, а, верите ли, я ведь к вам потом, через полгода, от Тушара бежать хотел!» (13; 96).

Эта альтерация состоит из двух частей, первая из которых раскрывает процесс осознания героем своего социального положения, вторая – попытку бежать из пансиона. Структура первой части представляет собой цепочку событий, причины которых либо герой не знает, либо ложно трактует: вопрос соучеников, почему у Аркадия фамилия Долгорукий, если его отец Версилов («я сам не знал почему») – выдворение Тушаром Аркадия из классной комнаты – переглядывание и пересмеивание с товарищами («они надо мною смеялись, но я о том не догадывался и думал, что мы смеемся от того, что нам весело» – 13; 97) – пощечины Тушара («Произошло что-то такое, чего я ни за что не понимал» – 13; 97) – лакейство Аркадия и ненависть товарищей («я старался изо всех сил угодить и нисколько не оскорблялся, потому что ничего еще этого не понимал, и удивляюсь даже до сей поры тому, что был так еще тогда глуп, что не мог понять, как я всем им неровня» – 13; 98).

Тон второй части воспоминания романтически окрашен. Сема «мечта» в этом отрывке трижды повторяется по отношению к Версилову. На фоне моральных и физических унижений со стороны соучеников и воспитателя образ отца в сознании героя ассоциируется с возможным избавлением от всеобщего презрения.

Противоречивость в сознании героя в этой альтерации проявляется в борьбе желания бежать к отцу с нерешительностью. Детальное описание наивной попытки уйти из пансиона проникнуто жалостью Подростка к себе. Особое страдательное настроение, отражающее ощущение незащитности персонажа, передано в рассуждении о том, каким образом Аркадий

собирался разыскивать отца: «...ночь где-нибудь прохожу или просижу, а утром расспрошу кого-нибудь на дворе дома: где теперь Андрей Петрович и если не в Москве, то в каком городе или государстве? Наверное, скажут. А я уйду, а потом в другом месте где-нибудь и у кого-нибудь спрошу: в какую заставу идти, если в такой-то город, ну и выйду, и пойду, и пойду. Все буду идти; ночевать буду где-нибудь под кустами, а есть буду один только хлеб, а хлеба на два рубля мне очень на долго хватит» (13; 99).

К романтической традиции примыкает и параллелизм в описании душевного состояния героя и состояния природы: «Я ждал ночи со страшной тоской, помню, сидел в нашей зале у окна и смотрел на пыльную улицу с деревянными домиками и на редких прохожих. <...> Солнце закатывалось такое красное, небо было такое холодное, и острый ветер... подымал песок» (13; 99). И именно «темная-темная ночь», становясь символом «бесконечной и опасной неизвестности», порождая в сознании Аркадия нерешительность, возвращает его в пансион.

Этим двум этапам в процессе осознания своего социального и семейного положения героем соответствует два вывода, к которым он приходит: во-первых, он – лакей, во-вторых, – трус. Поэтому в этой альтерации вполне органично сосуществуют две доминанты в отношении персонажа к самому себе – это самоуничижение и жалость.

После повествования о первой встрече с отцом и о жизни в пансионе Подросток упоминает о другом детском переживании: «Мама, у меня на совести уже восемь лет, как вы приходили ко мне одна к Тушару посетить меня и как я вас тогда принял» (13; 100). Сказав мимоходом об этом воспоминании, автор возвращается к нему более чем через полтора ста страниц. Встреча с матерью возникает в памяти героя, когда после долгого периода легкомысленного «огромного счастья» возле князя Сергея Сокольского, с которым были забыты и «одинокое и угрюмое детство» и «глупые мечты под одеялом, клятвы, расчеты и даже “идея”», наступила позорная ночь, во время

которой Аркадий был выброшен из игорного дома и обвинен в краже и доносе.

Эта глубоко лиричная альтерация начинается с образа церкви, которая фигурирует в тексте воспоминания трижды: по приезду матери, когда она уезжает и через шесть месяцев после этого случая, когда происходит переоценка событий в сознании героя. Этот параллелизм образов церкви и матери строится на основе общественно-духовной позиции героини как представительницы «благообразной» России. Но это не единственная аналогия в этом отрывке. Так, показана параллель между состоянием природы и внутренним миром героев. Софья Андреевна появляется в пансионе, когда «только что минула святая неделя и на тощих березках в палисаднике тушаровского дома уже трепещут новорожденные зеленые листочки. Яркое предвечернее солнце льет косые свои лучи...» (13; 270). Весеннее состояние природы оттеняет душевную чистоту героини. Говоря же о ненависти, проникшей в сознание Аркадия, автор описывает «ветренный и ненастный октябрь». В этой аналогии с природой таится и антитеза между образами матери и сына, на основе которой строится повествование об их встрече. Ее кроткому, безмолвному виду Аркадий противопоставляет свой «большой вид собственного достоинства», иронизируя по поводу глупости такого поведения, в чем проявляется уже более поздняя оценка событий героем. Благоговению матери перед сыном соответствует неприкрытое чувство стыда Аркадия за нее перед товарищами и Тушаром с женой.

Как и другим воспоминаниям, этому дается двойная оценка героя: первоначальное чувство стыда сменяется тоской по матери, сожалением за свое поведение, любовью

к ней: «Помнишь ли ты теперь своего бедного мальчика, к которому приходила... Покажись ты мне хоть разочек теперь, приснись мне хоть во сне только, чтоб только я сказал тебе, как люблю тебя, только чтоб обнять мне тебя и поцеловать твои синенькие глазки, сказать тебе, что я совсем тебя уж теперь не стыжусь, и что я тебя и тогда любил, и что сердце мое ныло тогда, а я только сидел как лакей» (13; 274).

Эта альтерация заканчивается на грани сна и реальности: в воспоминании и в реальности Аркадия бьет Ламберт.

Воспоминания о первой встрече с отцом и о приезде матери в пансион отражают развитие в душе Подростка двух амбивалентных тенденций соответственно: от любви к обиде и от стыда к любви. И именно на фоне пансиона Тушара показано изначальное отношение Аркадия к родителям: желание бежать оттуда к отцу и желание, чтобы мать поскорее покинула его.

Таким образом, рассмотрев данные ретардации, мы можем сделать следующие выводы о роли детских воспоминаний в становлении сознания Аркадия Долгорукого. Во-первых, детские воспоминания включают в себя ключевые события в формировании личности героя. Во-вторых, эти альтерации помогают раскрыть полемичность сознания Аркадия и объясняют сложившиеся ранее обстоятельства, повлиявшие на противоречивое поведение героя. В-третьих, детские воспоминания переживаются героем как события настоящего. Наконец, они влекут за собой переработку первоначального впечатления, что проявляется в наличии в тексте воспоминаний двойной оценки (во время этих событий и во время написания этих записок).

## ДЕТСКИЙ ДИСКУРС У ДОСТОЕВСКОГО (ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА)

Понятие «детского» является сложным онтологическим, эстетическим и поэтическим концептом в творчестве Достоевского. Среди идейных источников этого концепта следует указать, с одной стороны, на «наивность» (naïve) шиллеровской эстетики. В трактовке сентиментальной поэтики «детское» выступает как *dispositio* и «безграничная определимость», а «наивность» толкуется в качестве «неожиданного, удивительного» обнаруживания детского начала в человеке. Такое обнаруживание вызывает смех. Кроме того, наивное предполагает новое отношение к языку и связывается с необычным употреблением языковых знаков. С другой стороны, в библейской традиции «детская чистота» трактуется как высшее душевное совершенство человека и расценивается манифестацией загадки происхождения человеческого бытия «из миров иных».

В докладе предлагается новый подход к концепту «детского» у Достоевского. Нам кажется, «детское простодушие» оказывается сигналом побуждения к повествовательной деятельности. Рассказ о себе – не просто познание и рефлексия, а возникновение нового, «нарративного» типа мышления у героев, противопоставленного «земному эвклидовскому уму». С этой точки зрения особый интерес вызывает мысль М. Бахтина о «религиозной наивности» исповедального слова, о наивной исповеди, где «я мало-по-

малу из я-для-себя становлюсь другим для Бога, наивным в Боге». Ведь рассказ о себе часто принимает форму исповеди у Достоевского. Таким образом, проблема «детского» неотделимо связана с субъектностью речи и рассказа. А загадка человеческого бытия тематизируется в поисках новых форм выражения. Например, в романе «Подросток» «детское простодушие» рассказчика связывается с принципиальной бесформенностью рассказа. Однако нарочитая грубость, неблагообразие стиля рассказа компенсируется в письменном тексте – словами Гумбольдта – креативным, порождающим началом языка (язык-энергея), т. е. образованием новых знаков-символов. Новый знак открывает новую, ещё несуществующую – «будущую» – референтность.

Итак «детский дискурс» как повествовательное слово рассматривается нами и в плане высказывания – как «исповедальное слово», и в плане текстуальной операции генерирования языковых и символических средств высказывания. «Детское начало» повествования иногда персонифицируется в образе ребёнка – девочки. В других случаях «детское начало» несут в себе сами рассказчики и потенциальные повествователи: князь Мышкин, Николай Ставрогин, Аркадий Долгорукий, Алёша Карамазов, Иван Карамазов и др.

## СИМВОЛИКА ДЕТСКИХ ЖЕСТОВ И МИМИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Изображение детства в художественной литературе представляет собой важную специфическую область исследования, отнюдь не связанную исключительно с вопросами так называемой «детской литературы». В русской литературе второй половины XIX века и начала XX века трудно найти авторов, которые более или менее глубоко не коснулись бы этой темы. А анализ творчества таких писателей, как Ф. М. Достоевский или Ф. Сологуб, на любом уровне не мыслим без тщательного рассмотрения и осмысления детства в их художественно-философской концепции человека и мира. Речь идет о сложной проблематике, к которой можно подойти с разных сторон. Предлагаемый подход стремится к постижению лишь одной, но весьма выразительной черты поэтики Достоевского.

Детство стало для Достоевского кардинальной темой, к которой он настойчиво обращался на протяжении всего своего творчества. Он, как и многие его герои, был очень внимательным наблюдателем детей. Об этом свидетельствуют не только его художественные произведения, но и многие статьи в «Дневнике писателя». В них он комментировал и анализировал трагические судьбы детей, о которых узнавал из самой жизни или из современной печати, формулировал свои взгляды на значение детства в жизни человека, выступал в защиту детей. По свидетельству биографа Достоевского Л. Гроссмана,<sup>1</sup> при подготовке 10-й главы романа „Братья Карамазовы“, которая вся посвящена детям, Достоевский тщательно изучал современную педагогическую литературу. Некоторые психоаналитические интерпретации<sup>2</sup> в этом не совсем обычном интересе к детству усматривают даже какие-то патологические

черты. Однако можно предполагать, что он был вызван, скорее всего, художественным и философским антропоцентризмом Достоевского, тем мучительным и напряженным стремлением к проникновению в сущность человека, которое характерно для всего его творческого усилия.

Маленькие дети, приблизительно до семилетнего возраста<sup>3</sup>, у Достоевского, как и у Чехова, «состояли в ангельском чине». В них он вместе с Иваном Карамазовым видел существа, которые «страшно отстают от людей: совсем будто другое существо и с другой природой». Но, согласно своей общей концепции человека, Достоевский прямо изображал прежде всего психологию кризисного детского возраста, приблизительно с 10 до 13 лет (часто это дети из «случайных семейств»), о котором пишет в «Дневнике писателя»: «А главное, повторяю еще и еще: тут этот интереснейший возраст, возраст, вполне еще сохранивший самую младенческую, трогательную невинность и незрелость с одной стороны, а с другой – уже приобретший скорую до жадности способность восприятия и быстрого ознакомления с такими идеями и представлениями, о которых, по убеждению чрезвычайно многих родителей и педагогов, этот возраст даже и представить себе будто бы ничего еще не может. Это-то вот раздвоение, эти-то две столь несходные половины юного существа в своем соединении представляют чрезвычайно много опасного и критического в жизни этих юных существ» (24; 59).

Помимо прямого изображения дети часто фигурируют в размышлениях, спорах, дискуссиях, теориях и утопических видениях героев Достоевского. Таким образом, художественная и философская концепция

детства все глубже пронизывала все структурные уровни его творческого метода, стала неотъемлемой составной его поэтики.

Известно, что рядом с художественным анализом интеллектуальной стороны человеческой личности Достоевский уделял не меньшее внимание эмоциональной, инстинктивной, подсознательной ее стороне. В связи с этим в его изображении человека такую важную и незаменимую роль играют воспоминания, сны, галлюцинации и также невербальная коммуникация, парасловесный диалог, т.е. «диалог, в котором, наряду со словом, на равных с ним правах, участвуют телодвижения, жесты, мимика, интонация, причем участвуют активно»,<sup>4</sup> полемизируют со словом, включают его в противоречивые контексты. Такую же роль, на наш взгляд, играют и внешние проявления физиологических процессов, вызванных моментальным психическим состоянием персонажей. Речь тела усиливает драматичность сцен рассказов и романов Достоевского. Например, сцена признания Родиона Раскольникова Соне Мармеладовой вся наполнена выразительными и многозначными жестами и мимикой, в которых как будто взаимно отражаются оттенки психического напряжения обоих персонажей. Эти «зеркальные» жесты и мимика то сближают их, то отталкивают друг от друга. Особенно бросается в глаза широкая шкала улыбок: от робкой, смущенной и кривой к ехидной и ненавистной ухмылке и, наконец, к гримасе полного отчаяния и детски беспомощной и беззащитной улыбке. Жесты и мимика в таких сценах у Достоевского зачастую действуют сильнее слова, которое не в силах выразить все «закруты» человеческой души.

Рядом с жестами и мимикой условными и невольными, которые отражают моментальное психическое состояние или подсознательные аффекты, «интонируют и завершают слово» или «опережают и готовят» его, у него «коллизия жеста и слова обычно носит концептуальный характер и фиксирует систему взглядов или потаенный мыслительный ход»<sup>5</sup>. Такие жесты и мимика в его поэтике часто приобретают

символическое значение, служат средством выражения социальных, этических, эстетических и философских взглядов отдельных персонажей и самого автора.

В одном из кульминационных моментов упомянутой сцены из романа «Преступление и наказание» посредством художественного приема «наслаивания» символических детских жестов и мимики возникает захватывающий образ страдающего человека, в котором как будто скрещиваются судьбы центральных героев: «...он смотрел на нее и вдруг, в ее лице, как бы увидел лицо Лизаветы <...> когда он приближался к ней тогда с топором, а она отходила от него к стене, выставив вперед руку, с совершенно детским испугом в лице, точь-в-точь, как маленькие дети, когда они начинают чего-нибудь пугаться, смотрят неподвижно и беспокойно на пугающий их предмет, отстраняются назад и, протягивая вперед ручонку, готовятся заплакать. Почти то же самое случилось теперь с Соней: так же бессильно, с тем же испугом, смотрела она на него несколько времени и вдруг, выставив вперед левую руку, слегка, чуть-чуть, уперлась ему пальцами в грудь и медленно стала подниматься с кровати, всё более и более от него отстраняясь, и всё неподвижнее становился ее взгляд на него. Ужас его вдруг сообщился ему: точно такой же испуг показался и в его лице, точно так же и он стал смотреть на нее, и почти даже с тою же *детскою* улыбкой» (6, 315). Графическое выделение слова *детская* принадлежит самому автору. Это свидетельствует о том, что он придавал ему какое-то особое значение. Слова детский, дитя, ребенок, как мальчик, как девочка, точно школьник, совершенный ребенок и им подобные часто встречаются в произведениях Достоевского. Они выполняют функцию таких понятий, как искренний, прямодушный, чистый, невинный, неиспорченный, отзывчивый, но и слабый, запуганный, беспомощный, беззащитный. Характерен в этом смысле, например, портрет князя Мышкина, в облике которого детскость является доминирующей чертой. Все люди, с которыми он

встречается, называют его с большей или меньшей мерой симпатии ребенком, иногда это утверждает о себе даже он сам. Одновременно в нем есть огромная способность открывать детскость в других людях, освобождать ее и поддерживать ее проявления, так как он ее считает одним из высочайших талантов в человеке, благодаря которому человек и способен переживать счастье, любовь, радость взаимного общения, благодаря которому он, хоть на мгновение, снимает свою маску.

Достоевский прекрасно понимал, что у детей, у которых часто не хватает слов для выражения их чувств и мыслей, мимика и жестикуляция гораздо выразительнее и насыщеннее, чем у взрослых. Но он не ограничивался этим, несомненно значительным, психологическим знанием. Символические детские жесты и мимика в его поэтике далеко не всегда связаны исключительно с изображением детских персонажей. Они приобретают значение притчи, значение иконографических знаков. На основе тщательного анализа всего творчества Достоевского можно утверждать, что в его произведениях есть такие моменты, в которых иконографически изображенные дети встречаются почти закономерно, преимущественно тогда, когда его герои переживают глубокий внутренний кризис, нравственное перерождение, духовный подъем.

Мир Достоевского глубоко антиномичен. Человек в его понятии – это исконное поприще, на котором постоянно осуществляется борьба добра со злом, любви с ненавистью, стремления к социальной откровенности с эгоизмом, мечты об общности с уходом в экзистенциальное подземелье, стремления к свободе со стабильностью, высокого духовного подъема с темными инстинктами. Дети в его образном мире, на наш взгляд, фигурируют на обоих полюсах – темном, отвлеченном от «живой жизни», и светлом, направленном к идеалу.

На темном полюсе бытия как симптом реальности и животрепещущее этическое предостережение часто появляется образ «мальчика с ручкой» (так названа статья из

«Дневника писателя», предваряющая святочный рассказ «Мальчик у Христа на елке»), т.е. изображение одинокого ребенка, загнанного в темный городской угол, где он просит милостыню, где он ломает ручки и бьет себя кулачком в грудь, не понимая, почему его не любят, образ плачущего ребенка и ребенка, который молча с «порога» крошечным кулачком грозит своему мучителю<sup>6</sup>.

Мальчики и девочки «с ручкой»<sup>7</sup> – страдающие, голодающие, истязаемые дети, которые напрасно просят помощи у взрослых, но которые впоследствии способны глубоко затронуть их совесть, проходят через все творчество Достоевского. В этом мотиве олицетворяется его глубокое социальное и этическое чутье, которое сближало его с тенденциями современной западноевропейской и русской литературы. В святочном рассказе «Мальчик у Христа на елке» страдание бедного, всеми покинутого ребенка изображается в экспрессионистическом образе мальчика, бегущего в страхе и ужасе морозными улицами враждебного города.

Мотив плачущего ребенка как крайне негативного эстетического явления перерастает в размышлениях Ивана Карамазова в одну из ключевых тем Достоевского – в тему детской слезинки, затрагивающую круг самых сложных философских вопросов. Страдание детей как символ страдания человека вообще становится для Ивана непреодолимой антиномией. С одной стороны, оно действует на него как источник глубокого мучения и познания необходимости претворить мир, а с другой стороны, – становится причиной, по которой он отказывается от насильственного претворения мира. Вот одна из антиномий человеческого бытия, в образном выражении которой в поэтике Достоевского существенную роль играет символическая детская мимика.

Многие художники и литературные критики постигли этическую силу мучительного для Достоевского мотива изнасилованной девочки, которая не перенесла своего унижения и наложила на

себя руки. Алексей Ремизов, у которого была, по его словам, «какая-то общая память с Достоевским», в автобиографической прозе «Подстриженными глазами» пишет об угрожающих сжатых кулаках обольщенных, обманутых и изнасилованных детей, «убивших Бога», как о сокровеннейшем видении Достоевского<sup>8</sup>. Мотив изнасилованной девочки в наиболее полной форме развернут Достоевским в исповеди Ставрогина старцу Тихону («Бесы»). Насильственно погубленная жизнь девочки (а девочка ведь родник «живой жизни») была для Достоевского тем пределом, за которым последует безвозвратный распад человеческой личности, окончательная потеря человеческой сущности.

Однако не менее значителен в творчестве Достоевского светлый, позитивный полюс человеческого бытия, направленный к идеалу. Он становится яркой составной его утопического мышления. Важную роль на этом полюсе играют воспоминания детства: детская молитва, детское объятие, детский поцелуй (например, доверчивый детский поцелуй Полочки Мармеладовой, который уверяет Раскольников в возможности новой жизни), и прежде всего детский смех и улыбка. Смеху Достоевский вообще придавал особое значение. В «Записках из Мертвого дома» он пишет: «Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что по смеху можно узнать человека». Эта мысль позднее развернута в романе «Подросток» в целой тираде Аркадия Долгорукого о смехе: «... я понимаю лишь то, что смех самая верная проба души. Взгляните на ребенка: одни дети умеют смеяться в совершенстве хорошо – оттого-то они и обольстительны. Плачущий ребенок для меня отвратителен, а смеющийся и веселящийся – это луч из рая, это откровение из будущего, когда человек станет наконец так же чист и простодушен, как дитя». Смех или улыбка могут проявляться по-разному и поэтому могут действовать как сила притягательная или отталкивающая. Детский смех и улыбка для Достоевского всегда были силой притягательной, очищающей. Человек, на лице которого появляется детская улыбка,

еще не потерял своего человеческого облика. Для писателя был очень важен этот отпечаток детскости на лице взрослого человека. Только в извращенном сознании многогрешного человека невинная и чистая детская улыбка («луч из рая») может превратиться в бесовскую маску вульгарного смеха развращенной проститутки (последняя предсмертная галлюцинация Свидригайлова, свидетельствующая о его нравственном распаде).

Иконографичность изображения детей у Достоевского наиболее ярко заметна там, где символика детских жестов и мимики тесно соприкасается с символикой христианской – с образом Иисуса Христа («дети – образ Христов») и Мадонны (женщины-матери). Христа-учителя и его отношение к детям Достоевский воспринимал как высочайший идеал (князь Мышкин и Алеша Карамазов в детском обществе). Настасья Филипповна в романе «Идиот» в одном из писем к Аглае Епанчиной прямо говорит о какой-то новой иконографии: «Христа пишут живописцы всё по евангельским сказаниям; я бы написала иначе: я бы изобразила его одного – оставляли же его иногда ученики одного. Я оставила бы с ним только одного маленького ребенка. Ребенок играл подле него; может быть, рассказывал ему что-нибудь на своем детском языке, Христос его слушал, но теперь задумался; рука его невольно, забывчиво, осталась на светлой головке ребенка. Он смотрит вдаль, в горизонт; мысль, великая как весь мир, покоится в его взгляде; лицо грустное. Ребенок замолк, облокотился на его колена, и, подперши рукой щеку, поднял головку и задумчиво, как дети иногда задумываются, пристально на него смотрит. Солнце заходит... Вот моя картина!»

Вместе с Христом через все творчество Достоевского в разных подобиях проходит Мадонна. Это «черная Мадонна», пробуждающая совесть Дмитрия Карамазова – бедная женщина из погорелой деревни с плачущим ребенком на руках (знак страдания народного), это «светлая Мадонна», о которой рассказывает князь Мышкин Рогожину – женщина, заметившая

первую улыбку на лице своего младенца (знак любви – рая земного), это и извращенное лицо «Сикстинской Мадонны» в представлениях сладострастного Свидригайлова (знак распада личности и ее нравственных основ). Можно утверждать, что Мадонна появляется в произведениях Достоевского в основных канонических изображениях, типичных для православной иконографии, т.е. как «Оранта» (например, воспоминания Алеши Карамазова о молящейся матери, освещенной лучом солнца), как «Одигитрия» – Наставница, показывающая путь (например, Мадонна Макара Долгорукого, «черная Мадонна» Дмитрия Карамазова, «светлая Мадонна» князя Мышкина) и, наконец, «Гликофилуза» – Мадонна Умиления, нежно любящая, изображаемая с младенцем на руках, который нежно прикасается к ее лицу (например, Вера Лебедева с младенцем на руках в глазах князя Мышкина, его же Мадонна из народа с улыбающимся младенцем на руках). Известно, что Достоевский считал эстетическим идеалом «Сикстинскую Мадонну» Рафаэля, в облике которой он видел воплощение высших представлений о красоте, здоровье, любви, гармонии.

В художественно-эстетическом идеале Достоевского самые важные мысли о детях образно воплощаются в контрасте светлой, гармоничной Мадонны и «черной», страдающей матери; в позе ребенка, доверчиво опирающегося на колени Христа и задумчиво наблюдающего закат солнца (очарование бесконечной тайной жизни) и отчаянного крика одинокого, всеми забытого и поруганного ребенка; счастливо

улыбающегося ребенка и ребенка плачущего; ребенка, свободно играющего в саду, и запуганного ребенка в темном углу города. Эти маленькие, хрупкие и легко уязвимые существа все снова и снова рождались в сокровеннейших родниках воображения писателя как упрек и предостережение, как лучи из рая, которые смягчают и очищают сердце человека и лечат его душу, как инстинктивная тоска человека по себе самому, как воплощение мечты о гармонии и совершенстве, как надежда на будущее.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Гроссман Л. Достоевский. М.: Молодая гвардия, 1962. С. 516.

<sup>2</sup> Напр.: Кашина-Евреинова А. Подполье гения: сексуальные источники творчества Достоевского. Л.: Атус, 1991.

<sup>3</sup> В. С. Пушкарева объясняет этот „рубеж” законом православной церкви, по которому в семь лет ребенок идет к первой исповеди – и с этого момента он считается ответственным за свои грехи; до семи же лет он считается безгрешным. См.: Пушкарева В. С. Дети и детство в творчестве Ф. М. Достоевского и русская литература второй половины 19 века. Белгород: Белгородский государственный университет, 1998. С. 102.

<sup>4</sup> Вайман С. Мерцающие смыслы. М.: Наследие, 1999.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> По М. Бахтину, в поэтике Достоевского „порог и его заместители являются основными точками действия”. См.: Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 198.

<sup>7</sup> Интересно сравнение со статуей «Мальчик, просящий милостыню» Н. С. Пименова (1844) и с картиной «Нищая девочка – испанка» Е. С. Сорокина (1852).

<sup>8</sup> Ремизов А. Подстриженными глазами // Взвихренная Русь. М., 1991.

## АНДЕРСЕНОВСКИЙ КОНТЕКСТ «МАЛЬЧИКА У ХРИСТА НА ЁЛКЕ» Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Был ли знаком Ф. М. Достоевский с произведениями Х. К. Андерсена? Думается, да. Первые публикации прозы датского писателя были сделаны П. А. Плетневым в журнале «Современник» (1844) с предисловием В. Г. Белинского. Вполне вероятно, что Достоевский, близкий к Белинскому в 40-е годы, уже тогда мог познакомиться с творчеством датского писателя. Отдельные публикации сказок («Бронзовый вепрь», «Гадкий утенок» и Соловей») появились в 1847 г. в журнале «Новая библиотека для воспитания» (кн. 5, 7, 8), а первые сборники Андерсена вышли в России в 50-е годы.

Любопытно отметить, что с начала 1860-х годов в круг Достоевского неизменно входили люди, так или иначе связанные с творчеством датского сказочника, а периодические издания, которые интересовали или могли интересовать Достоевского, включали материалы, посвященные Андерсену. В частности, переводами произведений Андерсена занимались Ф. Берг, Я. Полонский, П. Вейнберг – члены редакционного кружка журналов «Время» и «Эпоха», издаваемых Михаилом и Федором Достоевскими. Переводы Ф. Берга вошли в «Сборник стихотворений иностранных поэтов» (1860) и онтологию «Поэты всех времен и всех народов» (1862). Их публикацию осуществил М. Катков, с которым Достоевский был связан издательскими делами. В 1875 году Ф. Берг некоторое время исполнял обязанности редактора-издателя журнала «Нива», где в апрельском номере к юбилею датского писателя была опубликована обширная статья, с огромной фотографией на титульном листе и с кратким библиографическим обзором. Годовой комплект «Нивы» хранился в библиотеке Ф. М. Достоевского<sup>1</sup>.

Широкую известность в России

творчество Андерсена приобрело к середине 1860-х годов. Много для этого сделало русское «Общество переводчиц», которое в 1863 г. осуществило издание переведенных с немецкого языка сказок Андерсена. Дополненный сборник вышел в 1867 году большим тиражом. В 1868 году «Обществом» был сделан перевод с немецкого «Новых сказок» Андерсена. Среди сотрудниц «Общества переводчиц» были А. Н. Энгельгардт и А. П. Философова – близкие знакомые Достоевского<sup>2</sup>. Иными словами, Андерсен не мог не оказаться в сфере профессиональной деятельности русского писателя.

Вопросы о творческой связи писателей возникают всякий раз, когда приходится перечитывать «Мальчика у Христа на елке» Достоевского – небольшой фрагмент, вышедший в составе январского выпуска «Дневника писателя» за 1876 год. Литературоведение традиционно соотносит творческую историю этого фрагмента со стихотворением Ф. Рюккерта «Елка сироты». Основания для этого есть<sup>3</sup>, и об этом писал Г. М. Фридлиндер<sup>4</sup>. Однако, думается, литературные связи «Мальчика у Христа на елке» не ограничиваются только указанным произведением.

В стихотворении Рюккерта сюжетная канва незамысловата. Дитя-сирота в рождественский вечер бежит по улицам города, чтобы полюбоваться на зажженные свечи, которые горят в чужих окнах. Ребенку тяжело, и он сетует на свою теперешнюю ненужность на чужбине, невольно сопоставляя нынешнее состояние с прежним, когда дома и для него «сиял свет рождества». В отчаянии дитя обращается к Богу, который появляется в облике ребенка, одетого в белые одежды. Он произносит слова утешения и, указывая на небо, дарит сироте елку, «которая сверкает звездами на бесчисленных ветвях»<sup>5</sup>. В восхищении ребенок чувствует

себя как во сне, и спустившиеся ангелочки увлекают его с собою наверх, к свету. Эта развязка усиливается примечанием о том, что дитя «вернулось к себе на родину, на елку к Христу», где оно позабудет земные страдания. Главная просьба, с которой обращается ребенок к Богу, – это мольба о том, чтобы Христос был его утешителем, заменил ему отца и мать, дал ему тепло семейного счастья, потому что все о ребенке забыли.

Основным у Рюккерта оказывается мотив одиночества. Ребенок ждет, чтобы к нему проявили участие, ему ничего не нужно – он, заглядывая в окна домов, просто хочет «насладиться блеском рождественских подарков», хочет свою елку. И он обретает ее там, куда его уносят ангелы, за пределами земного мира, возвращаясь «к себе на родину», к Христу, и забывая то, «что было уготовано ему на земле».

В произведении Достоевского мальчик выходит из подвала на улицу, потому что ему страшно в темноте возле умершей матери. Он идет не любоваться на зажженные свечи и рождественские витрины (ср. у Рюккерта) – его инстинктивно тянет к людям, потому что ему жутко в подвале и хочется кушать. Чувство голода усиливается на улице, но к нему добавляется острое ощущение холода: «...господи, так хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно стало вдруг пальчикам» (22; 15). Однако взрослые, к которым тянется ребенок в надежде на помощь, оказываются равнодушными к его судьбе. И дело не в том, что у каждого из них своя елка – как в балладе Рюккерта. Ребенок у Достоевского не заглядывает в окна домов, где сидят за праздничным столом семьи (ведь Рождество – это, в первую очередь, семейный праздник). Мальчик идет к людям вообще – и он никому не нужен. Вот прошел полицейский, блюститель порядка (государственного!), и отвернулся, то есть сделал вид, что не заметил. Богатые барыни в магазине с игрушками и пирогами тоже предпочитают не замечать страданий, а их частная благотворительность (одна барыня дала копеечку) ничего не может изменить в жизни ребенка.

Его все гонят, и он забегает в дровяной двор: «Тут не сыщут, да и темно» (22; 16). Ему очень страшно («сам отдышаться не может от страху»). Замерзая, он сначала слышит материнский голос, который поет ему песню. Мальчик не молится, не просит елку, не ожидает никакого чуда, как ребенок у Рюккерта («Дитя <...> полное ожидания, замирает посреди улицы»). Он просто пытается согреться – в чужой подворотне, за чужими дровами. Оказывается, ему приходится искать спасение от того мира, в который он идет в поисках помощи и защиты. Спасение дарует Христос, но для этого нужно умереть. Божественные слова, которые слышит мальчик, произнесены тихим голосом, безо всякой торжественности: «Пойдем ко мне на елку, мальчик, – прошептал над ним вдруг тихий голос» (22; 16)<sup>6</sup>.

У Рюккерта ребенок приходит в восторг оттого, что наконец увидел свою елку – у Достоевского мальчик в предсмертных видениях обретает тепло и защиту, которых он искал и не нашел у живых людей.

Подобное состояние в сказке Андерсена переживает девочка, которая присела, чтобы погреться, за выступом дома и замерзла («Девочка со спичками», 1845). Ее предсмертные грезы – это фантастические картины радостной и счастливой жизни, которой она была лишена в действительности: тепло от большой железной печи, еда, роскошная рождественская елка с тысячами свечей на зеленых ветках; «разноцветные картинки, какими украшают витрины магазинов»; умершая недавно тихая и просветленная старенькая бабушка, которая «взяла девочку на руки, и, озаренные светом и радостью, обе они вознеслись высоко-высоко – туда, где нет ни голода, ни холода, ни страха, – они вознеслись к Богу».

Земной мир заставляет ребенка страдать, и только возвращение на небо и у Андерсена, и у Достоевского для ребенка отрадно и спокойно: дитя, подобие ангела на земле<sup>7</sup>, попадая к Богу, становится ангелом. И здесь оказывается неважно, отчего страдает ребенок – от болезни или от стужи на улице,

– все равно: взрослый мир не может его оградить и спасти от страданий.

Так изображается ребенок уже в раннем стихотворении Андерсена «Умиращее дитя» (1825). Здесь боль и усталость, что испытывает умирающий ребенок, противопоставлены свету и теплу, ангельским песням, которые чудятся ему в предсмертных видениях.

В сказке «История одной матери» (1848) повествуется о самоотверженных попытках матери спасти своего ребенка, который был похищен Смертью, явившейся в дом в облике бедного замерзшего старика. Несчастливая женщина жертвует всем: она сквозь слезы поет Ночи колыбельные песни, чтобы от нее узнать, в каком направлении скрылась Смерть с ее ребенком; обливаясь кровью, согревает, терновый куст у своей груди, чтобы тот сказал, куда идти дальше; отдает свои глаза озеру, которое переносит ее к теплице Смерти, где каждое растение – человеческая жизнь; расстается со своими черными волосами, обменивая их на седые волосы старой садовницы, которая согласилась при этом условии сказать, как найти среди растений и цветов похищенного ребенка и защитить его от Смерти. И вот когда остается совсем немного – выполнить то, о чем говорила садовница: вырвать цветки, которые охраняет Смерть в обмен на жизнь собственного ребенка, – мать отступает. Она содрогнулась, заглянув в глубокий колодец, где она увидела будущее тех детей, цветы которых она собиралась уничтожить. Один из них богат и счастлив. Другой беден и сир. Но кто из них ее дитя, Смерть отказывается ей сказать. И тогда мать в отчаянии просит Смерть спасти ее ребенка «от всех этих бедствий». В равной степени – и от счастливой, и от несчастной судьбы. «Унеси его в царство божье!» – заклинает она Смерть, которая в нерешительности медлит. И тогда мать молится Богу, отдавая его воле судьбу своего ребенка. А Смерть, исполняя волю Божию, уносит ее ребенка в «неведомую страну», где нет ни боли, ни страданий.

Физические мучения матери несоизмеримы с теми, которые испытывает

она, поняв, что противопоставляет свое желание спасти ребенка воле Бога. К Нему она в отчаянии обращается со словами: «Не внемли мне, когда я прошу о чем-либо, несогласном с Твоею всеблагою волей!»

Ребенок не обделен материнской любовью, заботой и вниманием, в доме тепло и есть достаток: мать наливает вошедшему старику кружку пива. Ребенок болен, но мать выхаживает его, а потом жертвует всем, чтобы он выжил. Однако Андерсен называет его «маленький страдалец». И эти слова обозначают не только физическую боль от болезни. При сопоставлении с финалом сказки оказывается, что страдания выпадают на долю невинного – равно безгрешного ребенка и взрослого человека.

Мотив земных страданий ребенка и посмертное обретение им счастья как единственно для него возможного отчетливо обнаруживается в произведениях Достоевского и Андерсена<sup>8</sup>. Чуда спасения не происходит. Даже в рождественскую ночь, когда так хочется в него верить. Даже силой материнской любви и самопожертвования.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Библиотека Достоевского: Опыт реконструкции. Научное описание. СПб.: Наука, 2005. С. 203.

<sup>2</sup> О вышеприведенных фактах см.: Деханова О. А. Ф. М. Достоевский и Г. Х. Андерсен: Фантазии и реальность // Вестник Челябинского ун-та. Серия 2. Филология. 1999. № 2. С. 77 – 88.

<sup>3</sup> «Елка, ребенок у Рюккерта, Христос, спросить у Владимира Рафаиловича Зогова», – записывает Достоевский в черновиках (24; 102). Везде в цитатах курсив наш. – А.Д.

<sup>4</sup> См.: Фридендер Г. М. Святочный рассказ Достоевского и баллада Рюккерта // Международные связи русской литературы. М., 1963. С. 370 – 390. Об истории переводов Рюккерта и знакомстве русского читателя с его произведениями см.: Там же. С. 379 – 381.

<sup>5</sup> Цит. прозаический перевод-подстрочник стихотворения Рюккерта (22; 322).

<sup>6</sup> Ср. у Рюккерта: «Мое слово принадлежит одинаково всем. Я одаряю своими сокровищами здесь, на улицах, так же, как там, в комнатах. Я заставлю твою елку сиять здесь, на открытом воздухе, такими яркими огнями, какими не сияет ни одна там, внутри» (22; 322 – 323).

<sup>7</sup> «Слушайте: мы не должны превозноситься над детьми, мы их хуже, – пишет Достоевский. – <...> А потому мы их должны уважать и подходить к ним с уважением, к их лику ангельскому <...> к их невинности <...> и к трогательной их беззащитности» (22; 68 – 69).

<sup>8</sup> Обращает на себя внимание совпадение: в августе 1875 г. умирает Андерсен – в январском номере «Дневника писателя» за 1876 г. Достоевский печатает «Мальчика у Христа на елке». О других совпадениях в жизни Андерсена и Достоевского см.: *Деханова О. А.* Указ. ст.

## ПРОСТРАНСТВО ДЕТСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ

Детство в русской литературе XIX века – это, по большей части, идиллическое и идеальное время жизни, которому соответствует столь же идиллическое пространство: уютный, защищенный дом, пронизанный множеством родовых и родственных связей, населенный, по преимуществу, заботливыми взрослыми людьми. Даже сюжеты об бездомных детях и сиротах, как правило, увиденны «изнутри дома» (дом как точка отсчета), а благополучная развязка непременно включает в себя обретение дома или возвращение домой.

Каким на этом фоне предстает пространство детства в художественном мире Ф. М. Достоевского? Каковы векторы переосмысления традиционных топосов «детского мира» в его творчестве? В предлагаемом сообщении предпринимается попытка рассмотреть пространство детства сквозь призму оппозиции «дом-бездомность», задающей одну из осевых линий не только художественного дискурса писателя, но также его религиозно-философской картины мира (ср. данное Достоевским в речи о Пушкине определение современного человека как «русского бездомного скитальца»).

Как отмечает большинство исследователей, «герои Достоевского не живут домом»; в лучшем случае, он присутствует как воспоминание (напр., «Бедные люди», «Преступление и наказание», «Идиот» и др.), отчасти порожденное неустройством и тоской героя, как символ необратимо утраченного «золотого века». В этой связи весьма показательным воспоминанием Алеши Карамазова о доме детства как пространстве молитвы, явственно противопоставленном карамазовскому «жилию».

Столь же бездомным оказывается в художественном мире Достоевского детство.

Даже если «внешне» дом есть, он, как правило, лишен тепла (ср. «Холодный дом» Диккенса, оказавшего существенное влияние на Достоевского), и самой жизни, которая наполняет его смыслом (отсюда и оксюморонная метафора «мертвого дома», так или иначе присутствующая практически во всех произведениях), из него, как признается князю Мышкину младшая дочь генерала Епанчина Аглая, «хочется бежать» (8; 357 – 358). Если же принять во внимание, что детство для Достоевского – не столько возрастная, сколько нравственная (дети «очеловечивают нашу душу» – 22; 68) и даже метафизическая категория («лик ангельский»; ср. «дите» в «Братьях Карамазовых»), становится очевидно, что и детская бездомность приобретает в произведениях Достоевского не столько «локальный» или социальный, сколько метафизический характер, осмысливается в евангельской перспективе и как «бездомность младенца-Христа» (на жанровом уровне это проявляется в несомненном тяготении повествований о детстве к поэтике святочного рассказа), и как напоминание о Сыне Человеческом, не имеющем, «где приклонить голову». Бездомность роднит ребенка и с юродивым, у которого по определению «на земле нет дома» (Ю. де Бособр), ибо он призван напомнить миру о неотмирной реальности<sup>1</sup>. ***Неслучайно (что также не раз отмечалось исследователями) наиболее «неотмирные» герои Достоевского – независимо от возраста – прямо или косвенно уподоблены детям, тогда как герои, живущие исключительно по законам «века сего», совершенно лишены детских черт.***

Детская «бездомность» в творчестве Достоевского указывает не только на бесчеловечность, «разложение» мира (ср. подготовительные записи к «Подростку»:

«Во всем идея разложения, ибо все врозь и не остается связей...не только в русском семействе, но даже просто между людьми»). Как представляется, пространство детства осмысливается писателем по апофатическому принципу. У ребенка нет места («дома»), потому что мир в его нынешнем состоянии не способен «дителя принять». Поэтому пространству детства противостоят все земные топосы – город, «здание человеческого счастья», ибо его предполагается построить «на слезинке ребенка», и даже дом (ср. содержащиеся в «Дневнике писателя» заметки об истязаниях детей в родительском доме). Ребенок в художественном мире Достоевского не только «локально», но онтологически бездомен, и здесь Достоевский намечает одну из ключевых для европейской литературы XX века, особенно второй его половины, тему «радикальной бездомности» (Б.Уолш)<sup>2</sup>. Но если в европейской литературной традиции бездомность, как

правило, не преодолевается, а констатируется как единственно возможный модус бытия личности, у Достоевского намечен выход: за враждебными ребенку «ситуативными топосами» открывается эсхатологическая перспектива. Идеальным пространством детства в художественном мире писателя становится пространство Царства (см., напр., «Мальчик у Христа на елке», «Братья Карамазовы» и др.) очертания которого проступают там, где безысходность человеческого бытия преодолевается состраданием и «действенной любовью».

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> См. об этом: *еп. Диоклийский Каллист (Уэр)*. Юродивый как пророк и апостол. // Каллист (Уэр). Внутреннее царство. Киев, 2004.

<sup>2</sup> См. *Walsh B. J.* Homemaking in exile: Homelessness, postmodernity and theological reflection. In *Reminding: Renewing the mind in learning*. 1-2. Sydney, 1996.

«СЛУЧАЙНОЕ СЕМЕЙСТВО» КАК ПРОБЛЕМА  
СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ:  
«ПОДРОСТОК» Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО И  
«ЗОЛОТЫЕ СЕРДЦА» Н. Н. ЗЛАТОВРАТСКОГО

Главная задача настоящего доклада состоит в том, чтобы выяснить историко-социальную коннотацию темы «случайное семейство» в контексте литературной тенденции 1870-х годов.

«Случайное семейство» – это художественная и социальная концепция, сформулированная Достоевским в процессе работы над «Подростком» и осмысления семейных проблем в публицистике. Понятие «случайное семейство» является в значительной степени авторской концепцией Достоевского: видимо, вот почему ему приходилось в разных статьях объяснять, что он подразумевает под этим выражением.

Многие современники Достоевского разделяли его мнение об отсутствии нравственной основы в современных семьях и о предоставленности молодого поколения произволу судьбы. В романах о новых людях 70-х годов, где описывается жизненный путь молодых героев-разночинцев, также преобладает мотив семейного неблагополучия и отсутствия нравственного

ориентира у родителей.

Интересный материал для сопоставления с романом Достоевского о случайном сыне случайного семейства представляет повесть Н. Н. Златовратского «Золотые сердца». Златовратский видит нечто подобное в героине Кате. Разрабатывая концепцию, очевидно, заимствованную от Достоевского, Златовратский ярко подчеркивает проблему социальной идентичности незаконнорожденной героини, которая не может ни определиться в своем социальном происхождении, ни носить фамилию отца. В подобной разработке концепции «случайного семейства» в «Золотых сердцах» мы видим адекватное понимание социальной коннотации этого понятия. Версия Златовратского дает нам ключ для понимания концепции «случайного семейства» как проблемы социальной идентичности, в небывалом масштабе обострившейся в середине XIX века в связи с разложением прежней социальной системы.

## ТЕМА СЕМЬИ В «БРАТЬЯХ КАРАМАЗОВЫХ»

В ключевой по отношению к Достоевскому теме «подражания Христу» («русского Христа») оказались упущены «семейно-богородичные» мотивы. Необходимо хотя бы частично восполнить пробел.

Вынесенная в заглавие романа идея «семьи малой церкви»<sup>1</sup> представлена модулями, связанными с темой смерти: «случайное семейство» (родство по плоти; Федор Павлович и «кликуша»), монастырская община (родство в духе; Зосима, Богородица, Христос), «детская церковь-семья» (возникшее в память об Илюше братство)<sup>2</sup>. Если родной и названный «отцы» Алеши в своей эмпиричности антиподы, то земля и небо в материнстве предельно сближены. Он с детства помнит «картину»: «...В комнате в углу образ, пред ним зажженную лампадку, а пред образом на коленях рыдающую как в истерике, со взвизгиваниями и вскрикиваниями, мать свою, схватившую его в обе руки, обнявшую его крепко до боли и молящую за него Богородицу, протягивающую его из объятий своих обеими руками к образу как бы под покров Богородице...» (14; 18). Образуется переключка с любимой автором «Сикстинской Мадонной», когда Приснодева поручает Сына миру. Словесный, иконописный и живописный ОБРАЗ Матери и Дитя отражает движение и связь горнего и дольного, драму жизни и ее разрешение. И далее: «...И вдруг вбегает нянька и вырывает его у нее в испуге. Вот картина!» Автор подчеркивает ее символизм. Значима реплика рассказчика: «Такие воспоминания могут запоминаться (и это всем известно) даже и из более раннего возраста, даже с двухлетнего, но лишь выступая всю жизнь как бы светлыми точками из мрака, как бы вырванным уголком огромной картины, которая вся погасла и исчезла, кроме этого только уголочка»<sup>3</sup> (14; 18). Намечается сближение и поляризация полюсов: русский

(иконописный) и западный (живописно-скульптурный) образы. И если в «Братьях» царит Приснодева и Богородица дораскольничьего письма, то над «Идиотом» нависает «Мертвый Христос» («матери» у героя нет).

В описания кельи Зосимы (14; 37) знаменателен диссонанс «деланных херувимчиков, фарфоровых яичек, католического креста из слоновой кости с обнимающей его Mater dolorosa и нескольких заграничных гравюр с великих итальянских художников», «изящных и дорогих», с «самыми простонароднейшими русскими литографиями святых, мучеников, святителей и проч., продающихся за копейки на всех ярмарках», с «портретами... архиереев» («по другим стенам») и с тем, что «вещи и мебель были грубые, бедные и самые лишь необходимые». Порой он оценивается как знак всеядности героя (и автора), впавших в соблазн. Автор упредил оппонентов и критиков, одарив старца врагами: от «старого шута», видящего в нем «иезуита», до прогрессиста Миусова, от изувера Ферапонта до обдорского монашка.

В герое скрыта не моральная и конфессиональная лишь, но творческая проблематика. Для него вещи церковной культуры, быта не являются предметами культа, упомянуты через перечисление: «около», «затем», «подле» (римский крест показательно выведен после «деланных херувимчиков»). Они находятся возле образов и Богородицы («огромного размера и писанной, вероятно, еще задолго до раскола. Пред ней теплилась лампадка»), что создает иерархию ценностей. Ей близка Mater dolorosa, объект почитания по изображаемой личности и мастерству передачи состояния, тяготеющая к культуре, а не к культу. Тайна Лица Богородицы и телесная явь, страда Матери Человеческой соотнесены как иномирие и эмпирика. Мир дан в нераздельности и нетождестве себе,

поскольку освящение не равно теозису (проблема связи Церкви и Благодати). Напряжением полюсов оживляется «вялый вид» кельи, увиденной как бы вчуже, извне<sup>4</sup>.

Сопряжение Достоевским православного культа и западного искусства выводит на проблему ОБРАЗА, по-своему решаемую католическим Credo и русской поэтикой, на соотношение эстетической и поэтической аксиологии. Красота как путь, образ Цели наиболее торжествующа, убедительна, и в то же время уязвима. Если она есть среда и форма, то поэтика реализует триединство Блага (истины, добра, красоты) в демифологизирующей «правде образа». Вопрос скрыт в свободе Лица от условности, деспотии идеи, в типе связи как ценности и метода. Икона единит «эллинизированное» благолепие Лица с безвидной («хтонической») плотью на Кресте; диссонанс разрешим в дихотомии символа, где истина пребывает «посредине и выше» (Гете): не в изяществе или невзрачности, а в Ладе, созвучном Правде. Тема образа – того же ряда, что и всепрощение (романиста порой сближают с «новыми христианами» Л. Толстым, Н. Федоровым. Но он трезво определяет связь образа и Праобраза, адекватность бытия им). Автор не прошел мимо близких ему интуиций католичества, но его интерес носит взыскующий характер. В нем нет желания уравнивать или противопоставить исповедания, он не стремится к апологии синтеза или разъединения, а демонстрирует «родное и вселенское», соотнося общее и уникальное в них. Его идеал – единая после всех расколов Церковь.

«Злой шут» и сопряжен с юродом во Христе в обозначенной проекции. Что их отличает, вполне понятно; вопрос в том, что их сближает, и чем они отличны не идеологически, а функционально, на уровне не мировоззрения, а приема. Что их связь не только оппозирующая, но и близнецная, очевидно. Соотнесение их определяется встречным параллелизмом мотивов: 1) Обладание сокровищем, тайной любви при безвидности форм, 2) «Рыцарское» соперничество, 3) Уничтожение, 4) Пыры-

беседы (о служении любви, аде-воздаянии), 5) Связь с «мирами иными» ... Все мотивы сошлись в смерти «отцов»: Алешин «бунт» – луковка – «Кана» (так усопший старец отвратил Митю от убийства, исполнив за смятенного послушника данный ему завет сторожить брата). Сюжет роится, взвихрен вокруг нее. Стягивание узлов происходит в «нестройных собраниях», конклавах; уготовление развязок – келейно, почти исповедально («Неуместное собрание», «Инквизитор», «Луковка», встречи Ивана со Смердяковым, «Черт. Кошмар Ивана Федоровича»); «берега сходятся», смерть приходит в тиши, тайне.

Коснусь темы отцовства и воздаяния. Ситуация оппозирующей близечности (и «двойного родства») нередка у Достоевского: Версильев и Макар Долгорукий, несостоявшееся «отцовство» Тихона по отношению к Ставрогину. Показательно, что «крестный отец» Мышкина – доктор Шнейдер. «Отцом» Раскольников становится Порфирий, сам в молодости, в мечте прошедший его путь. Крестной же его «матерью», а впоследствии и реальной невестой становится премудрая дева-«богородица» Соня. Сестринско-материнская, а затем брачная любовь, «воскрешает» Родю, смердящего Лазаря и Иова на гноище. Драма героев заключается в «безотцовщине», своевольном сиротстве, богоотвержении, ведущем к «богооставленности». Кризис одиночества, духовное «смердение» их при жизни исследует автор.

В теме «отцовства» тоже возникает встречное движение:

а) Родной отец «отпускает» сына в монастырь при жизни, как в мир иной, в «землю неведомую» (поди туда – не знаю, куда): «...Ступай, доберись там до правды, да и приди рассказать: всё же идти на тот свет будет легче, коли наверно знаешь, что там такое» (14; 24), перепоручая его старцу; а тот посылает Алешу послужить миру<sup>5</sup>: «Ты там нужнее. Там миру нет. Прислужишь и пригодишься. Подымутся беси, молитву читай. И знай, сынок (старец любил его так называть), что и впредь тебе не здесь место».

Его напутствие напоминает Христово: оставьте мертвым погребать мертвецов, и: отрясите прах (мира) с ваших ног.

б) Поскольку Дух являет себя во плоти, то чувственность Федора Павловича («он был зол и сентиментален»), укорененная в памяти-воображении (оправдание низостей унижениями юности: «среда заела»), вызывает фобии. Его горловые спазмы (угрожавшие и автору) – снижения Страха Божия: «...Бывали высшие случаи, и даже очень тонкие и сложные, когда Ф. П. и сам бы не в состоянии, пожалуй, был определить ту необычайную потребность в верном и близком человеке<sup>6</sup>, которую он моментально и непостижимо вдруг иногда начинал ощущать в себе. Это были почти болезненные случаи: развратнейший и в сладострастии своем часто жестокий, как злое насекомое, Ф. П. вдруг ощущал в себе иной раз, пьяными минутами, духовный страх и нравственное сотрясение, почти, так сказать, даже физически отзывавшиеся в душе его. «Душа у меня точно в горле трепещется в те разы», – говаривал он иногда». К ряду «профанирующих» моментов отнесем и его болтовню о «фон Зоне»; он обращает себя в пародию на Воскресшего, итогом чего является смердение его духа при жизни, в параллель «смердению» Зосимы по смерти, попущенное черту для взыскания Алешы и окружающих. Сюда относятся оговорки по поводу «отца лжи», «нечаянная» клевета на Зосиму («наафонил» по образцу «нафонзонил»), уязвления монахов, анекдоты про «направника» и пр. Адвокат дьявола творит «дьяволов водевилей» и горестно вопрошает: «Кто же это так смеется над человеком?» (14; 124).

Тема воздаяния неслучайно поднята Ф. П.; от «коньячка» он не откажется, страхуясь «жаждой правды». Совесть его спит; не зная, что она «тигр», он, как Смердяков, надеется на казуистику, на «случай», на лже-смирение: «Ведь невозможно же, думаю, чтобы черти меня крючьями позабыли стащить к себе, когда я помру. Ну вот и думаю: крючья? А откуда они у них? Из чего? Железные? Где же их куют? Фабрика,

что ли, у них какая там есть? Ведь там в монастыре иноки, наверно, полагают, что в аде, например, есть потолок. А я вот готов поверить в ад, только чтобы без потолка; выходит оно как будто деликатнее, просвещеннее, по-лютерански то есть. А в сущности ведь не все ли равно: с потолком или без потолка? Ведь вот вопрос-то проклятый в чем заключается! Ну, а коли нет потолка, стало быть нет и крючьев. А коли нет крючьев, стало быть и все побоку, значит опять невероятно: кто ж меня тогда крючьями-то потащит, потому что если уж меня не потащат, то что ж тогда будет, где же правда на свете? Il faudrait les inventer (Их следовало бы выдумать), эти крючья, для меня нарочно, для меня одного, потому что если бы ты знал, Алеша, какой я срамник!..

– Да там нету крючьев, – тихо и серьезно, приглядываясь к отцу, выговорил Алеша.

– Так, так, одни только тени крючьев. Знаю, знаю».

Образ «теней» как будто соотносится с «нетварным огнем» Зосимы, когда Свет Фавора пронзает мрак души, становясь совестным жжением. Ад Зосимы – состояние вне любви; утешаясь, шут подменяет его иллюзией: упоминание «теней» возводит его «ад» к жизни-майя, игре теней в пещере Платона, где плоть проклята, «ад это другой» (по Сартру; у автора же каждый – себе ад). В аде (Страшном суде, поскольку суд творится здесь и сейчас, в истории) уже нет нужды. Происходит подмена духа – психосоматикой, квази-реальностью. И встает вопрос Зла, природы Ничто, их бытийности или производности, вопрос «кто автор?». Каждый на него отвечает по-своему: «иезуит смердящий» – казуизмами, Иван – схоластикой Аквината, старый «мозгляк» – антиномиями Канта («не нуждаясь» в Боге «от легкомыслия»), Митя – пафосом Шиллера, Григорий – рацеями катехизиса. Лишь подход Зосимы позволяет решить дилемму. Иначе драма Благой вести превратится в трагедию замкнутого в себе познания. Так «железные крючья» восходят к брутальности народного мифа, а «тени крючьев» – к гностике и абстракциям

Аквинатова «реализма». Потому утверждение В. Котельникова, что автор возродил mental Средних веков, примем как метафору «горения духа», но не способов восприятия, передачи образа мира; принципы оттуда, формы свои, от века сего. Так *ragodia sacra* используется автором в иной функции, чем в древности, не в парадигме дуальностей, а в дихотомии.

Истоком ломанья шута Зосима называет ложный стыд (тот же страх). Автор страха ради иудейска оставляет ему «память смертную». Страх смерти-проклятия в жизни-послушании вырастает из ветхозаветной, родоплеменной парадигмы, не знающей смерти-дара. Достоевский же преобразует «почвенность», освящает народность Светом Благой вести. У него истокова не тема воз-даяния (как у Леонтьева, по сути – Дня гнева) а Дара (любви, жизни, смерти).

Суть полемики К. Н. Леонтьева и В. С. Соловьева вокруг Достоевского, не прекращающейся по сей день, сводится к дилемме любви/страха, изначально ложной. Думается, проблема решается не антиномично, а в дихотомии, не в их противополжении, а в сопряжении. Очевидно, что романист педалирует определяющую сторону двуединства – любовь, выводя из нее страх-благоговение; критики же неправоммерно их разводят, упоая, – один на любовь, другой – на страх. Позиция Леонтьева – предостерегающая, как проповедь, Достоевского – «разрешительна», как молитва. Оба утверждают «спасенья узкий путь», тематизированный «Странником» Пушкина. У кого он верней?

Восполнение Закона Благодатью связано с Вечерей любви. Интуиция ап. Павла «не я живу, но живет во мне Христос» наполняется соборной «жизнью во Христе». Взаимность Творца и твари осуществляется в ее обожении, даруемом по «оставлении долгов наших». Любовь к миру, без отвержения страха Божия в любви к другому, осоловила нас. Первая и вторая заповеди Моисея не разделены (как в иудаизме и католичестве), а евангельски соотнесены: любовь к Богу реализуется в любви к

человеку, в деянии, а не в «мечте», провоцирующей насилие («Любовь мечтательная жаждет подвига скорого, быстро удовлетворимого и чтобы все на него глядели»). И спасительные тайны страшны: «Страшно впасть в руки Бога Живаго». Любовь и страх едины как страсти, как любовь к Творцу и страх за мир. Так Пушкин страшится «зверя когтистого», совести, понуждающей к смирению в творчестве. Леонтьев же учит смирению Достоевского, у которого «кротость» высшая добродетель («смирение любовное – страшная сила»)! Критик навязывает смирение страхом. А страх без любви – плод манипуляции, отчуждения, насилия из любви. Это в разной форме есть у Гоголя и Лермонтова, но не у Пушкина, Тютчева и Достоевского.

Смирение – плод независтливости, знания своего места, призвания, заключающихся в том, чтобы не желать больше, чем дано, что переключается с псалмодическим: «Работайте Господеви со страхом и радуйтесь Ему со трепетом», претворяющим скорби мира в небесную радость. А дано столько, сколько вместишь. Страх как исток любви – следствие греха. Любовь – его «плод», чудо исцеления, обретения «естества» в духе. «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8; а не «любовь есть Бог») сказано об истоке бытия, Творения. «Начало премудрости страх Божий» – педагогическая мера для грешника. Зосима говорит: «Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие Божеской любви и есть верх любви на земле». Автор говорит не столько о любви к Богу (долге благодарности), сколько о нашем подражании Его любви к нам, прежде всего в любви к ближнему на пути к Богу. Что ближе младенцу – жажда благодарности или подражания красоте, по сути единая? Зависит от настроения души. Леонтьев же настроен слышать себя; это не «обрезание сердца», а «оскопление» его. И признав частичную правоту критика, утверждающего онтологическую природу Страха Божия, отвергнем ревность, обусловленную психотипически и ситуативно, не

умиренную и смертью соперника.

Думается, неблагоприятное мнение оптинцев о Зосиме (в передаче Леонтьева!), используемое достоевичами как «свидетельство» против автора, обусловлено внехудожественным, психолого-бытовым фактором, игнорированием природы образа, разностью культурных, но не культовых начал старца и его прототипов. Зосима – образ обобщенный, в нем проступают черты ряда святителей: Тихона Задонского (учение), Игнатия Брянчанинова (чувство красоты, дар рассказчика), Паисия Величковского (исихия). Но типичность его не внешняя, и «свои не узнали», жест более поучающий, чем вероучительный. Но монологизм ригористов формирует нынешнюю ситуацию вокруг романиста.

Потому невозможно согласиться с С. Бочаровым, что романист дал «художественный ответ, в котором и по сей час остается для нас вопрос, поскольку все же мир человеческий с его борьбой (и бунт Ивана, и участь князя-«идиота», которого не спасло примирение с праздником жизни без него) – не растворяется у Достоевского в зосимовой космодице»<sup>7</sup>. У автора нет космодицеи и теодицеи (это проблемы Ивана), а есть антроподицея. Его космологии (домостроению, икономии) чуждо софианство (христианский «пантеизм») Гр. Сковороды, Вл. Соловьева, раннего С. Булгакова.

«Реализм» Достоевского следует оценивать в пасхальной, а не гностической проекции. Бочаров игнорирует двойные мотивации у автора, например, то, что в князе-«идиоте» клиника совмещена с «высокой болезнью», что Алеша вполне здоров и даже «не мистик», хоть в нем проступают черты матери- «кликуши» (по наблюдению отца-«шуга»). Нередко богословствующие критики рассуждают в том же ключе, что и С. Бочаров, находя в писателе оригенизм, всепрощение. Естественно, они оценивают это иначе, чем их оппонент. Полемика касается не факта, но интерпретации. В подходе же к явлению они следуют Н. Михайловскому и К. Леонтьеву,

противопоставляя послушание дерзости. Критерием выдвигается личный, а не церковный опыт. Тяга к фобиям, синдром «врага», как и смешение феноменов, свидетельствуют о распаде связей, нашей несвободе: мы создаем образы, они подчиняют нас. Достоевскому навязывают «пантеизм» Шеллинга, «эстетический гуманизм» Шиллера, христианский социализм, от чего он мучительно избавлялся. У него иной тип отношений тела и духа – воцерковление личности и воличноствление мира, превращение тела в храм Света, а не в катакомбы, застенки духа. Он жаждет не обожествления и отвержения, а обожения мира. Он не боится свести «серафического старца» во ад, зная, что «Свет во тьме светит...», а страх за Свет выявляет наше маловерие, забвение молитвенного: «Верую, Господи; помоги моему неверию». Автор воспроизводит Пасху жизни, сюжет схождения во ад и изведения душ из чрева его (рождение), «с картинами и со смелостью не ниже дантовских» (14; 225). К тому же тема Воздаяния через апокриф о «милостивом суде Приснодевы» (прощение «всех без разбору») дана Иваном, а не автором. И даже здесь речь идет не о «всепрощении», а об облегчении мук от Пасхи до Троицына дня.

Физический мир Зосимы сплошь «прозрачен», перегорел в борении со страстями («Я мою болезнь теперь безошибочно понимаю»). Он «семена миров иных» воспринимает телесно и мистически, как семя любви: зерно, пламя, свет («сеется тело душевное, восстает тело духовное»). Суждения старца при внешней отрывочности (напр., об адском огне) на редкость цельны. И «обезьяной» его предстает приживал с «кадыком римского патриция времен упадка» (образ снижения католицизма до язычества). Тоже ведь «инок», причастный иномирию, его изнанке, небытию. И Зосима преступает естества законы. Его мистика выглядит «магией» православия и чудо – авантюрой Духа, «говорящего не только устами язычников, но и их ослиц» (Г. Федотов). Дело в том, как это понять. Все ходы автора мотивированы

двойственно, психолого-бытовыми и духовно-мистическими факторами. Евхаристийность окрашивает его миростроение, в основу которого положено «домостроительство» Искупления. Его «реализм в высшем смысле» можно определить как «пасхальный», а поэтику – евангельской (если бы эти определения не отдавали претенциозной односторонностью, безвкусицей, вроде «духовного реализма», бестактностью по отношению к сакральной реальности). «Горнилом сомнения» автора был вопрос Предназначения, призвания, решаемый им смирением в труде. Он выявляет двойственную (нетождественную дуализму) природу жизни и смерти, добра и зла, творчества и разрушения, образа и безобразия, оригинала и пародии. Отметим, многие вещи автор определяет «апофатически», «пародийно». Но механизм «пародийности» как подражания у Достоевского – тема отдельного разговора.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Библейская история наполняет архетип «семьи», основу родового культа, личностным содержанием.

<sup>2</sup> Она не альтернатива Церкви, а отражение творящей Памяти; это пик «детской» темы у автора.

<sup>3</sup> Вспомним рембрандтовскую светотень, полную динамики жизни в кризисе.

<sup>4</sup> И гостиная Федора Павловича имеет «какой-то вялый» оттенок.

<sup>5</sup> «Не здесь твое место пока. Благословляю тебя на великое послушание в миру. Много тебе еще странствовать. И ожениться должен будешь, должен. Все должен будешь перенести, пока вновь прибудеши. А дела много будет. <...> С тобой Христос. Сохрани Его, и Он сохранит тебя. Горе узришь великое и в горе сем счастлив будешь. Вот тебе завет: в горе счастья ищи. Работай, неустанно работай». «Пусть мирские слезами провожают своих покойников, а мы здесь отходящему отцу радуемся. Радуемся и молим о нем. <...> Около братьев будь» (14; 71 – 72).

<sup>6</sup> Григорий – своего рода Санчо Панса, а Ф. П. – «рыцарь бедный» (как «рыцарь-монах» Зосима и его смиренный друг).

<sup>7</sup> Бочаров С. Г. Праздник жизни и путь жизни // Русские пиры. СПб., 1998. С. 248.

## СОБОРНЫЙ ОБРАЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ХРИСТА В РОМАНЕ «БРАТЯ КАРАМАЗОВЫ»

Традиционно внимание исследователей концентрируется, в первую очередь, на образах старца Зосимы и Алеши, когда речь идет о «чистом, идеальном христианине» (по выражению самого Ф. М. Достоевского). На наш взгляд, за этим понятием скрывается соборный образ, который создается прежде всего в книге «Русский инок».

Писатель в «русских иноках» подчеркивает их духовное состояние: «Их было четверо: иеромонахи отец Иосиф и отец Паисий, иеромонах отец Михаил, настоятель скита, человек не весьма еще старый, далеко не столь ученый, из звания простого, но духом твердый, нерушимо и просто верующий, с виду суровый, но проникновенный глубоким умилением в сердце своем, хотя видимо скрывал свое умиление до какого-то даже стыда. Четвертый гость был совсем уже старенький, простенький монашек, из беднейшего крестьянского звания, брат Анфим, чуть ли даже не малограмотный, молчаливый и тихий, редко даже с кем говоривший, между самыми смиренными смиреннейший и имевший вид человека, как бы навеки испуганного чем-то великим и страшным, не в подъем уму его» (14; 257).

Ключевые слова в этом отрывке – умиление, смирение и страх. В этих понятиях заключается духовная сила христианина, которая контрастно противопоставлена гордыне и бунту Ивана и творчески созданного им Великого инквизитора. Как один исследователь замечает: «Жизнь христианина – мир и радость, кротость и смирение. Не общественная деятельность спасет мир, а духовная красота. Нет выше человека, чем святой, который являет Бога»<sup>1</sup>. Такой пример дал своим последователям Христос: «Я кроток и смирен сердцем» (От Матфея 11:29).

Умиление, по словарю Даля, от глагола умилять, трогать нравственно, возбуждать нежные чувства, любовь, жалость<sup>2</sup>. Это особое светлое, возвышенное и смиренное состояние человеческого сердца, испытывающего невероятную любовь к Богу и сострадание к людям<sup>3</sup>. Такое качество не природное, а приобретенное в течение долгих лет через соприкосновение с Богом и сокрушение природного человека, это духовное переживание христианской жизни.

Во время работы над романом «Братья Карамазовы» Достоевский размышляет о смирении как о решении проблемы человеческой гордыни. Это ясно выражено в его Пушкинской речи. По мнению Достоевского, Пушкин видел силу народа в смирении: «Тут уже подсказывается русское решение вопроса <...>: “Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве”, вот это решение по народной правде и народному разуму» (26; 139).

Смирение как признак духовной зрелости требует от человека большой духовной силы, так как это результат деятельной любви и долготерпения. По сравнению с безудержным своеволием оно контролируется Святым Духом и является мощной силой. Писатель неустанно обращается к этой теме в своем творчестве. Об этом пишет С. И. Фудель: «Это, кстати, может служить и примером непрерывности христианского миропонимания Достоевского после 1865 года: Ипполит говорит о смирении в 1868 году, Зосима – в 1879-м. О молитве за неизвестных людей Достоевский одинаково говорит в 1868 году в “Идиоте”, в 1875 году в “Подростке” и в 1879-м – в “Карамазовых”»<sup>4</sup>.

Смирение противопоставлено бунту, насилию и гордыне, которые свойственны герою поэмы

«Великий инквизитор» и блудному уму Ивана. В романе «таинственный посетитель» повторяет известное выражение: «Господь не в силе, а в правде» (14; 280). Смирение, презренное качество для людей, гордящихся физической силой или умом, обладает колоссальным могуществом. В нем скрывается духовная смелость, дерзновение<sup>5</sup>. «Смирение не унижает человека, а напротив, ставит его на твердую почву самопознания, реалистического взгляда на себя, вообще на человека, поскольку смирение и есть тот свет, благодаря которому только человек видит себя таким, каким он является на самом деле. Оно есть свидетельство великого мужества человека, как не убоявшегося встретиться с самым грозным и неумолимым соперником – совестью своей»<sup>6</sup>.

Русские иноки в романе «Братья Карамазовы» отличаются от мирских людей, не ведающих истинную реальность, тем, что они узнали правду, глубоко проникнув в духовную сферу. В противоположность надменности им свойственно смирение. Такое святое ощущение связано с истинным познанием себя. Зосима учит: «Не святее же мы мирских за то, что сюда пришли и в сих стенах затворились, а, напротив, всякий сюда пришедший, уже тем самым, что пришел сюда, познал про себя, что он хуже всех мирских и всех и вся на земле...» (14; 149). Такое глубокое осознание приводит верующих к страху за свое поведение перед Господом. Подобное благоговение выражается в молитве Давида: «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня» (Псалтирь 18:13). Именно таков страх на лице брата Анфима. Этот страх связан с благоговением, надлежащим обращением к Господу, а также с ответственностью христиан, особенно иноков, так как они должны толковать народу Евангелие и держать знамя веры.

Как и старец Зосима и Алеша, русские иноки видят свой путь в соприкосновении с Господом через молитву. Их подвиг заключается в скромной молитве и соединении с народом<sup>7</sup>, а не в деяниях, продиктованных гордым умом, как поступают неверующие деятели, упомянутые

в поэме «Великий инквизитор». С точки зрения высшей, духовной реальности, «неверующий деятель у нас в России ничего не сделает, даже будь он искренен сердцем и умом гениален» (14; 285).

К соборному образу русского монашества естественно присовокупляются образы верующих из простого народа, в романе это русские бабы и слуга Федора Павловича Карамазова Григорий. Многие исследователи затрагивают проблему отношения народа и интеллигенции, обращая внимание на почвенничество Достоевского<sup>8</sup>. Под народом он понимал простой народ, крестьянство, сохраняющее истинного Христа, в отличие от потерявших национальный облик дворянства и интеллигенции. По этому поводу В. С. Соловьев пишет: «Личность должна преклониться перед народной верой, но не потому, что она народная, а потому, что она истинная»<sup>9</sup>.

Истинное христианство неразрывно связано в творчестве Достоевского с подвижничеством.

«Подвижник Достоевского во многом нетрадиционен, так как он не бежит от мира, не спасается в стенах монастыря от мирских соблазнов, а идет в мир для спасения людей. Этот подвижник в миру – тип не выдуманный, а реальный, формировавшийся в недрах русского монастыря»<sup>10</sup>. Следуя Христу, народ деятельной любовью христианина сопереживает судьбе людей, на практике реализует идею «все за всех виноваты». «Короче, этим словом “несчастные” народ как бы говорит “несчастливым”: “А пока берите, “несчастные”, гроши наши; подаем их, чтобы знали вы, что вас помним и не разорвали с вами братских связей”» (21; 17).

Когда речь идет о вере простого народа, следует обратить внимание на то, что малограмотность никак не мешает верующим постичь Божью тайну. В посланиях церквям апостол Павел отвергает знание в гордыне, противопоставив его любви: «Но знание надмевает, а любовь назидает» (1-е послание Коринфянам 8:1); – и показывает противостояние разума сего мира Богу: «Ибо написано: “погублю мудрость мудрецов, и разум разумных

отвергну“. Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» (там же, 1:19, 20).

Знание связано с разумом, а вера и познание Господа связаны с сердцем. Об этом много пишет Достоевский. Сердце как точное мерило направляет человека в жизни, поэтому и говорится в Библии: «Больше всего хранимого храни сердце твое; потому что из него источники жизни» (Притчи 4: 23). Достоевский высоко ценит народ именно потому, что у него сердце сохранилось целым, а у интеллигентов сердце оказалось подавлено умом.

В контроверзе Григория со Смердяковым о Божьем творении и о вере автор обнаруживает нелепость усилием разума понять духовный мир. Смердяков вопрошает: «Свет создал Господь Бог в первый день, а солнце, луну и звезды на четвертый день. Откуда же свет-то сиял в первый день?» (14; 114). Такой вопрос затрудняет некрасноречивого Григория, но вместе с тем показывает дилетантство Смердякова в понимании Библии, как и многих атеистов, пытающихся толковать Библию своим ограниченным умом. Он не понимает Божьего творения – тайны вселенной. В образе же Григория автор показывает добродетель простого верующего. Он не может логическими доводами опровергнуть аргументы Смердякова, но он знает, что вера внутри его сердца, и только своими делами доказывает ее.

Внешне Григорий «холодный и важный, не болтливый, выпускающий слова веские, нелегкомысленные» (14; 87). Порядок мира для него имеет священное значение, так как он связан с гармонией Божьего творения. Он не может терпеть любой беспорядок, хотя грубовато выражает это. Он запрещает жене танцевать, считая это неприличным, огорчен рождением шестипалого ребенка, так как «смешение природы произошло» (14; 88), зато он нежно любит свою жену и ребенка. В качестве слуги он безукоризненно исполняет свой долг. Именно поэтому Федор Павлович не только доверяет, но и уважает своего

старого слугу.

В отношениях Григория к двум женам Федора Павловича выражено отрицательное отношение простого народа к эмансипации и бережное – к традиции. В Аделаиде он видит одну из тех женщин, что заразились модными идеями эмансипации и забыли о традициях своего народа, а в Софье – воплощение этих традиций. «В нем симпатия к этой несчастной обратилась во что-то священное, так что и двадцать лет спустя он бы не перенес, от кого бы то ни шло, даже худого намека о ней и тотчас бы возразил обидчику» (14; 87). Он бережно хранит могилу бедной Софьи, безропотно ухаживает за сиротами Федора Павловича, несмотря на неприязнь к своему господину и генеральше-воспитательнице, так как считает это долгом верующего, высоко понимая принцип Божьей любви и милости. Своими деяниями слуга Григорий осуществляет принцип жизни простого верующего и, безусловно, превосходит своего хозяина.

Другой пример деятельной любви верующего простонародья – молодая баба с девочкой. Она жертвует небольшую сумму денег: «Кстати будет просьбица моя невеликая: вот тут шестьдесят копеек, отдай ты их, милый, такой, какая меня бедней. Пошла я сюда, да и думаю: лучше уж чрез него подам, уж он знает, которой отдать» (14; 49). Именно деятельной любовью она реализует учение Христа и убеждается в бытии Бога и бессмертии. Стоит обратить внимание на то, что глава «Верующие бабы» дается автором в середине книги «Неуместное собрание». Именно таким сопоставлением автор хочет показать духовное величие верующего простонародья. В этой книге обсуждается статья Ивана о христианстве, а также возникает неприятная сцена ссоры отца Федора Павловича и сына Дмитрия. И в этой же книге верующее простонародье деятельной любовью демонстрирует свою духовную силу.

В соборном образе истинных христиан Достоевский видит истинную Церковь. С. И. Фудель пишет по этому поводу: «Достоевский расширил в нас понимание церковности»<sup>11</sup>. Имеется в виду, в частности,

заметка из записной книжки последних лет: «Церковь – весь народ – признано восточными патриархами весьма недавно в 48 году, в ответе папе Пию IX-му» (27; 57). «“Весь народ”, – комментирует С. И. Фудель, – означает, конечно, весь “святой народ”, то есть входящий действительно, хоть и непостижимо, в святыню Церкви – Тела Божия: и пасомые и пастыри, и миряне и епископы, – по своей устремленности к святыне Божией в покаянии и любви»<sup>12</sup>. Современник Достоевского инок Парфений записал слова Иоанна Златоуста: «Церковь – это не стены и крыша, но вера и житие»<sup>13</sup>.

Итак, в художественном мире романа Достоевского мы видим духовные качества верующих, выраженные не только в отдельных образах, но и в соборном, семейственном образе: старец Зосима, Алеша, русские иноки, верующий народ. Этот образ совокупно выражает истинный смысл Церкви как мистического тела Христа, что выражается в деятельной любви и молитвенной жизни. Именно такое христианство, семью верующих, Достоевский видит и выражает в своем творчестве. По этому поводу Соловьев пишет: «Есть другой вид или степень христианства, где оно уже не довольствуется богослужением, а хочет руководить деятельною жизнью человека, оно выходит из храма и поселяется в жилищах человеческих. Его удел – внутренняя индивидуальная жизнь. Здесь Христос является как высший нравственный идеал,

религия сосредоточивается в личной нравственности, и ее дело полагается в спасении отдельной души человеческой»<sup>14</sup>.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Барсотти Д. Достоевский: Христос – страсть жизни. М., 1999. С. 146.

<sup>2</sup> Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: Русский язык, 1999. Т. 4. С. 493.

<sup>3</sup> Горичева Т. Об обновленчестве, экуменизме и «политграмотности» верующих. СПб., 1997. С. 21.

<sup>4</sup> Фудель С. И. Наследство Достоевского // Фудель С. И. Собрание сочинений: В 3 т. М., 2005. Т. 3. С. 62.

<sup>5</sup> Горичева Т. Указ. соч. С. 21.

<sup>6</sup> Осипов А. И. Достоевский и христианство // Журнал московской патриархии. М., 1997. № 1. С. 60.

<sup>7</sup> Старец Зосима велит: «Берегите же народ и оберегайте сердце его. В тишине воспитайте его. Вот ваш иноческий подвиг, ибо сей народ – богоносец» (14; 285)

<sup>8</sup> См.: Зеньковский В. История русской философии. М., 2001. С. 394 («почва это есть глубина народной жизни, таинственная сторона исторического движения»).

<sup>9</sup> Соловьев В. С. Три речи в память Достоевского // Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 240.

<sup>10</sup> Достоевский: эстетика и поэтика. Словарь-справочник / Под редакцией Г. К. Щенникова Челябинск, 1997. С.106.

<sup>11</sup> Фудель С. И. Указ. соч. С. 52.

<sup>12</sup> Там же. С.123.

<sup>13</sup> Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле. Постриженика Святые горы Афонския инока Парфения. Ч. I – IV. М., 1856. С. 57.

<sup>14</sup> Соловьев В. С. Указ. соч. С. 241.

## ФОЛЬКЛОР В СЕМЕЙНОМ БЫТУ ДОСТОЕВСКИХ

В романе «Униженные и оскорбленные» рассказчик, литератор Иван Петрович, элегически вспоминает «золотое, прекрасное время» детства. Именно таким оно запомнилось этому автобиографичному персонажу Достоевского во многом благодаря «нянинным сказкам» (3; 178). У многих других героев писателя светлые воспоминания о детстве связаны с фольклорными впечатлениями (Варенька Доброселова в «Бедных людях». Неточка в повести «Неточка Незванова», герой неосуществленного романа «Житие великого грешника» и др.). В. С. Нечаева писала об этом: «Нет сомнения, что в длинном рассказе Вареньки, в воспоминаниях Ивана Петровича в “Униженных и оскорбленных”, в предисловии к “Маленькому герою” изображены детские впечатления самого Достоевского, его летнее пребывание в отцовском имении – сельце Даровом, Тульской губернии, Каширского уезда».<sup>1</sup> Писатель всегда с теплотой вспоминал о своем детстве. Он пишет брату Андрею Михайловичу 6 июня 1862 г.: «Я раз уж шесть в эти два года был в Москве, и мне весело было припомнить нашу старину, наше детство» (28<sub>2</sub>; 25). В июльско-августовском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г. Достоевский, упоминая о своей поездке в Даровое, говорит, что «это маленькое и незамечательное место оставило во мне самое глубокое и сильное впечатление на всю потом жизнь и где всё полно для меня самыми дорогими воспоминаниями» (25; 172). Изучить бытовые контакты писателя с фольклором представляется необходимым прежде всего потому, что это позволит понять первоначальные истоки интереса Достоевского к народному художественному слову, а через него – к основам народного сознания.

В переписке Ф. М. и А. Г. Достоевских постоянно встречаются «отфольклорные» обращения типа «ясный свет мой», «свет

мой», «мой милый светик» и т. п.<sup>2</sup> Уже это заставляет предполагать обычность в семейном бытовом общении фольклорных речений. Анна Григорьевна считает заслуживающим внимания мужа сообщение о той интерпретации, которую дает старорусская прислуга Александра ее дурным снам, считая их причиной проделки домового (II, 294). В свою очередь, по словам А. Г. Достоевской, ее будущий супруг признавался: «Я придаю снам большое значение. Мои сны всегда бывают вещими. Когда я вижу во сне покойного брата Мишу, а особенно когда мне снится отец, я знаю, что мне грозит беда».<sup>3</sup> Жена сообщает Достоевскому в Эмс о народном гулянии в Старой Руссе, на котором были «с детишками» и «очень остались довольны» (II, 279, 287). Со своей стороны, во время отъезда жены в Петербург по делам издания «Дневника писателя» Достоевский не преминул сообщить, что 10 августа они с сыном отправились на народное гуляние, где «было много народу» и «пели военные песельники. Федя очень слушал» (30<sub>1</sub>; 206). Подобное времяпрепровождение, вероятно, было в привычках семьи: не случайно живущий за границей писатель ставится в известность о том, что «вчера дети прыгали через траву, как здесь в обычае накануне Иванова дня» (II, 205).

Чрезвычайно заботившийся о духовном и нравственном воспитании своих детей, Достоевский отнюдь не случайно включает в круг вечернего домашнего чтения русские былины. Об этом вспоминает дочь писателя, отмечая, что отец «сам восторгался чудными легендами нашего народа».<sup>4</sup> Это сообщение подтверждает метранпаж М. А. Александров, припоминая, как «однажды Федор Михайлович рассказал, что он иногда забавляет свою маленькую дочь чтением библейских рассказов и русских былин и как она хорошо понимает их...»<sup>5</sup> Более того, писатель живо интересуется фольклорным

репертуаром дочери и сына. Этот репертуар очень пестр: здесь и колыбельная, перенятая Федей от матери или няни (П, 167), на присылку которой Достоевский откликается: «Федина песенка премиленькая» (29<sub>2</sub>; 35). Здесь и «взрослые» песни частушечного склада, которым научилась Лиля (так звали по-домашнему дочь Любу) от девочки Маши, прислуги хозяйки дома в Старой Руссе (П, 185 – 186). Тексты этих песен Анна Григорьевна усердно пересылает мужу в Эмс по его настоятельным просьбам: «Непреренно заведи такую книжечку и слова их записывай» (29<sub>2</sub>; 48); «Песни личичкины записывай особо в книжку, пожалуйста (это очень важно и нужно)» (29<sub>2</sub>; 53); «За известия о детях благодарю: ради бога, записывай их словечки и песенки в особую книжку; слишком прошу» (29<sub>2</sub>; 56). Не ленится жена писателя переписать и послать Достоевскому довольно длинную (в 40 строк) историческую солдатскую песню времен Крымской войны, сопроводив этот подарок комментарием: «Лилия очень просила послать тебе эту песенку, которую она мне сейчас сама продиктовала, а Федя ее поправлял» (П, 190). Сама Анна Григорьевна, видимо, обладала богатым песенным репертуаром. Об этом, в частности, свидетельствует запись в ее дневнике во время совместного пребывания с мужем в Дрездене: «Потом я принялась шить и петь. Я пела самые различные песни, так что Федя удивлялся, откуда у меня что берется». Мы не можем судить по этой записи о характере репертуара А. Г. Достоевской, однако, не исключено, что в нем были и русские народные песни. Во всяком случае, готовясь к первому материнству, жена писателя «укачивала Соню или Мишу различными колыбельными песнями».<sup>6</sup>

Такой единодушный интерес к фольклору не столько как к забаве, а как к определенной эстетической ценности, был органической чертой домашней атмосферы, поддерживаемой, конечно, в первую очередь главой семьи. Он придает серьезное значение сказке, сочиненной трехлетним сыном, о чем оставляет запись дневникового

характера (27, 111). Поощряет общение детей с простыми людьми и сам навещает тех из них, которые были прикосновенны к воспитанию детей. Так, сообщая жене в Старую Руссу из Петербурга о посещении няни своих детей, Достоевский пишет: «...Потом заезжал к Прохоровне <...> Скажи детям, что Прохоровна им кланяется и любит их, а об Феде над его карточкой плачет. У ней и Федя, и Лилия висят на стене» (29<sub>2</sub>; 15). Пеняя жене, что та совсем не развлекается без него, Достоевский из-за границы сетует об упущенной ею возможности послушать в Старой Руссе хор Д. А. Агренева-Славянского, исполнявший русские и славянские песни (29<sub>2</sub>; 119). Попутно отметим, что в книге А. А. Гозенпуда «Достоевский и музыкально-театральное искусство» (Л., 1981) сведения о знакомстве писателя с этим хором, гастролировавшем по всему миру, почему-то отсутствуют.

Несмотря на обилие контактов с фольклором в семейном быту писателя, необходимо отметить всё же, что фольклорные элементы не растворялись естественным образом в быту, как это было в народной среде, а выделялись, как особый культурный феномен, благодаря повышенному интересу к себе.

Реконструкция фольклорного быта семьи писателя позволяет утверждать, что сам Достоевский вынес интерес к фольклору из собственного детства. Можно говорить о стойкости традиций обостренного внимания к народному творчеству, преемственно передаваемых в демократической среде интеллигенции, к которой принадлежал отец писателя и многие родственники со стороны матери. По праздникам и на масленицу детей штаб-лекаря Мариинской больницы для бедных водил «в балаганы», «к Петрушкам» двоюродный дед профессор-медик Московского университета В. М. Котельницкий. Раннее знакомство с народным театром давало сильные эстетические впечатления, и дети, по словам младшего брата писателя, «долгое время, подражая комедиантам, представляли по-своему различные комедии».<sup>7</sup> Особый фольклорный тон в быт семьи будущего

писателя вносили няни и кормилицы.

Совершенно исключительное значение принадлежит здесь московской мещанке Алене Фроловне, талантливой рассказчице сказок и быличек, которую брат писателя в своих воспоминаниях называет «замечательной личностью».<sup>8</sup> Само присутствие ее в доме создавало поэтическую и вместе с тем, по причине телесной полноты Алены Фроловны, юмористическую атмосферу. Об этом можно судить по переписке родителей писателя, где она называется «Геркулесом-доброходом», «сорокопудовой гирей», становится предметом шуток по поводу ее «чачотки» (так Алена Фроловна называла свои временные похудания) или по поводу домового, который ее «душил» во сне (следствие плотного ужина).<sup>9</sup> Имя Алены Фроловны встречается на страницах некоторых художественных произведений, в записных тетрадях Достоевского, где она упоминается с нескрываемой нежностью: «Нянюшка Алена Фроловна» (24; 158). Более того, ее личность была для писателя опорой в отстаивании заветных идей. Так, в апрельском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г., отвечая на мнения, что освобожденный народ может дать только кулаков да мироедов, Достоевский вспоминает эпизод из своего детства, когда было получено известие о пожаре в недавно купленном имении весной 1832 г., на пасху: «С первого страху вообразили, что полное разорение. Бросились на колена и стали молиться, мать плакала. И вдруг подходит к ней наша няня, Алена Фроловна, служившая у нас по найму, вольная то есть, из московских мещанок. Всех она нас, детей, взрастила и выходила. Была она тогда лет сорока пяти, характера ясного, веселого, и всегда нам рассказывала такие славные сказки! Жалованья она не брала у нас уже много лет: “Не надо мне”, и накопилось ее жалованья рублей пятьсот, и лежали они в ломбарде, – “на старость пригодится” – и вот она вдруг шепчет маме:

– Коли надо вам будет денег, так уж возьмите мои, а мне что, мне не надо...

Денег у ней не взяли, обошлись и без того.

Но вот вопрос: к какому типу принадлежала эта скромная женщина, давно уже теперь умершая, и умершая в богадельне, где ей очень ее деньги понадобились <...> Знает же народ Христа бога своего, может быть, еще лучше нашего, хоть и не учился в школе» (22; 112, 113).

Деревенские кормилицы, когда отпадала нужда в их услугах, не теряли связь с домом. Их визиты становились настоящими праздниками для детей, потому что сопровождалось рассказыванием сказок. Как можно понять из воспоминаний Андрея Михайловича, фольклорные впечатления составляли поэзию детства: «Это удовольствие продолжается часа по три, по четыре, рассказы передавались почти шепотом, чтобы не мешать родителям. Тишина такая, что слышен скрип отцовского пера. И каких только сказок мы не слыхивали, и названий теперь всех не припомню; тут были и про “Жар-птицу”, и про “Алешу Поповича”, и про “Синюю бороду”, и про многое другое. Помню только, что некоторые сказки казались для нас очень страшными».<sup>10</sup> Выработывался эстетический вкус и способность критически относиться к сказочницам, когда замечали, «что Варина кормилица, хотя и больше знает сказок, но рассказывает их хуже, чем Андрюшина...»<sup>11</sup> Частым гостем в доме был эконом Мариинской больницы Ф. А. Маркус, любитель рассказывать анекдоты, о котором упоминает Достоевский в подготовительных материалах к «Подростку» (16; 184) и который стал прототипом образа анекдотчика Ипполита Матвеевича в дефинитивном тексте романа.

Дети были слушателями и зрителями песен, когда летом в Даровом по обычаю помещичьего быта «деревенские девушки и бабы... по праздникам певали у нас в деревенском дому (наверху), как говорили они».<sup>12</sup> Дети не всегда были пассивными созерцателями фольклорной культуры. На пасху в доме обычным занятием было «катание яиц», которое имеет, как известно, древние магические корни. К этой игре-ритуалу присоединялись и взрослые.<sup>13</sup> В семейном быту присутствовали элементы

свадебной обрядности, участниками и исполнителями которой приходилось быть и детям, о чем свидетельствует описание А. М. Достоевским свадьбы сестры Варвары.<sup>14</sup> Приобщение к фольклору шло и через книгу. «В доме не переводились» лубочные издания сказок о Бове-королевиче, Еруслане Лазаревиче и проч.<sup>15</sup> Событием стало знакомство со сказкой П. П. Ершова «Конек-Горбунук», дети «выучили ее всю наизусть».<sup>16</sup>

Русский менталитет Достоевского выражался и в том, что он сам был носителем фольклора. Об этом неоднократно свидетельствует сам писатель и единодушно вспоминают многие мемуаристы. Сообщая А. Н. Майкову 18 мая 1868 г. о смерти дочери Сони, пораженный горем отец пишет: «Это маленькое, трехмесячное создание, такое бедное, такое крошечное – для меня было уже лицо и характер. Она начинала меня знать, любить и улыбалась, когда я подходил. Когда я своим смешным голосом пел ей песни, она любила их слушать» (28<sub>2</sub>; 297). С. А. Ивановой Достоевский пишет 14 декабря 1869 г. о дочери Любе: «Девочка здоровая, веселая, развитая не по летам (то есть по месяцам), всё поет со мной, когда я ей запою, и всё смеется...» (29<sub>1</sub>; 89). Сама Любовь Федоровна вспоминала: «На всю жизнь Достоевский сохранил привычку петь песни, которые ему нравились. Он пел их вполголоса, особенно, когда думал, что один в комнате».<sup>17</sup> А. Г. Достоевская, вспоминая о первой поездке с мужем за границу, пишет, как он утешал ее, стремясь поднять настроение: «Федя говорил, что, верно, мне скучно, что мы живем очень уединенно, что нам непременно надо уехать, что я, вероятно, раскисаюсь, что вышла за него замуж, и прочие, и прочие глупости. При этом рассказал мне сказку о двух стариках, которые, не имея детей, печалились о том, что будет с ними, если их внуки помрут».<sup>18</sup> Анна Григорьевна рассказывает в своем «Дневнике» о посещении немецкого собора, где гид «показала нам снимок с картины Holbein`a, изображающий “Танец смерти”, где представляется смерть, окруженная различными людьми. Федя сказал: «славны

бубны за горами», то есть что про эту картину так много говорили и кричали; но, может быть, снимок оказался не бог знает что».<sup>19</sup> В «Воспоминаниях М. А. Ивановой», племянницы писателя, напечатанных в составе статьи В. С. Нечаевой, находим такое свидетельство об излюбленном времяпрепровождении молодежи в Люблино под Москвой, где Достоевский летом снимал дачу неподалеку от дачи семьи своей сестры В. М. Ивановой: «У Ивановых любили играть в пословицы. Федору Михайловичу обыкновенно давали самое трудное слово. Он рассказывал в ответ на вопрос длинную историю, страницы в две, три, и угадать слово было невозможно. Часто он рассказывал по вечерам жуткие истории или предлагал присутствующим проделать такой опыт: просидеть в пустой комнате перед зеркалом минут пять, смотря не отрываясь себе в глаза. По его словам, это очень страшно и почти невозможно выполнить».<sup>20</sup> (Последнее – один из способов русских святочных гаданий.) В трудную пору жизни приобщенность Достоевского к народному искусству помогала переносить лишения. По воспоминаниям сотоварища Достоевского по Омской каторге Ш. Токаржевского, писатель был режиссером-постановщиком пьес из репертуара народного театра.<sup>21</sup>

Основываясь на своем личном опыте приобщения к народному искусству, Достоевский не раз высказывал мысль о благотворности для молодого человека такого приобщения. Так, выражая несомненно эту мысль писателя, Алеша Карамазов отвечает Коле Красоткину, конфузившемуся «клеветой», что он «на прошлой неделе с приготовительными в разбойники играл»: «– А вы рассуждайте так, – улынулся Алеша, – в театр, например, ездят же взрослые, а в театре тоже с разбойниками и с войной – так разве это не то же самое, в своем, разумеется, роде? А игра в войну у молодых людей, в рекреационное время, или там в разбойники, – это ведь тоже зарождающееся искусство, зарождающаяся потребность искусства в юной душе, и эти игры иногда даже сочиняются складнее, чем представления на

театре, только в том разница, что в театр ездят смотреть актеров, а тут молодежь сами актеры. Но это только естественно» (14; 484). Сам Достоевский в подглавке II «На каком языке говорить отцу отечества?» главы третьей июльско-августовского выпуска «Дневника писателя» за 1876 г. пишет о русском фольклоре как источнике приобщения ребенка к родному языку и национальному духу: «...надо непременно еще с детства перенимать его от русских нянек, по примеру Арины Родионовны, не боясь того, что она сообщит ребенку разные предрассудки <...> сверх того, не бояться простонародья и даже слуг, от которых предостерегают родителей иные деятели. Затем уже в школе непременно заучивать наизусть памятники нашего слова, с наших древних времен – из летописей, из былин и даже с церковнославянского языка, – и именно наизусть, невзирая даже на ретроградство заучивания наизусть» (23; 81).

Осмысляя эти слова Достоевского, не будем забывать, что первые фольклорные впечатления будущий великий писатель получил в сельце Даровом.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> *Нечаева В. С.* Из литературы о Достоевском: Поездка в Даровое // *Новый мир.* 1926. № 3. С. 129.  
<sup>2</sup> См.: *Достоевский Ф. М., Достоевская А. Г.* Переписка. М., 1979. С. 11, 267

(В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с обозначением буквой П и через запятую – страниц).

- <sup>3</sup> *Достоевская А. Г.* Воспоминания. М., 1981. С. 87.  
<sup>4</sup> Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской. М.; Пг., 1922. С. 89.  
<sup>5</sup> Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1990. Т.2. С. 294.  
<sup>6</sup> *Достоевская А. Г.* Дневник 1867 года. М., 1993. С. 84, 277.  
<sup>7</sup> *Достоевский А. М.* Воспоминания. Л., 1930. С. 38, 49.  
<sup>8</sup> Там же. С. 24.  
<sup>9</sup> См.: *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских (Письма М. А. и М. Ф. Достоевских). М., 1939. С. 80, 86, 89 – 91; *Достоевский А. М.* Воспоминания. С. 27, 365 – 366. См. также письмо к матери от 9 мая 1835 г., подписанное Федором и Андреем (281, 32).  
<sup>10</sup> *Достоевский А. М.* Воспоминания. С. 44 – 45.  
<sup>11</sup> Там же. С. 45.  
<sup>12</sup> Там же. С. 82.  
<sup>13</sup> Там же. С. 47.  
<sup>14</sup> Там же. С. 116.  
<sup>15</sup> Там же. С. 45.  
<sup>16</sup> Там же. С. 71.  
<sup>17</sup> Л. Ф. Достоевская об отце (Впервые переведенные главы воспоминаний) // Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исслед. / Лит. наследство. М., 1973. Т. 86. С. 303.  
<sup>18</sup> *Достоевская А. Г.* Дневник. 1867. М., 1923. С. 35.  
<sup>19</sup> Там же. С. 364.  
<sup>20</sup> *Нечаева В. С.* Из литературы о Достоевском... С. 139.  
<sup>21</sup> *Токаржевский Ш.* Достоевский в Омской каторге // *Звенья.* М.; Л., 1936. Т. VI. С. 506.

## ДЕТСКАЯ ДРАЗНИЛКА (ФОЛЬКЛОРНЫЙ ЖАНР) ПОД ВЗГЛЯДОМ И ПЕРОМ ДОСТОЕВСКОГО

Детскому творчеству ирония еще не доступна;  
в нем – смех жестокий, едкость, ничем не смягчаемая.

Г. С. Виноградов.

*Детская сатирическая лирика (1925)*

Этнография детства, как она отразилась в творчестве Достоевского, – это целая историко-литературная проблема. Всего один ее аспект – социализация ребенка – настолько неисчерпаем, что может послужить предметом многих поэтико-культурологических исследований. Первая ласточка в этой области науки о Достоевском явлена: попечениями коломенского ученого В. А. Викторovichа подготовлен и выпущен сборник научных работ «Педагогия Ф. М. Достоевского» (Коломна, 2003). Благоугодное дело ждет продолжения. Того требует гуманитарная, демографическая и школьно-педагогическая ситуация в России.

Аксиома, которая может значиться, пожалуй, под номером первым: каждое наблюдение Достоевского-сердцевода над социальной психологией соотечественников, тем более юных, – драгоценно. Ибо «из подростков создаются поколения» (13; 455). Актуализация наблюдений, выводов и прогнозов писателя всегда была насущной задачей достоевистики.

\* \* \*

В неисходимых лабиринтах и уголках творчества Достоевского, кажется, чуть ли не затерялась вконец такая – ускользающая от внимания наблюдателей – фольклорно-этнографическая мелочь, как **детская дразнилка**. Однако мы хорошо знаем невероятную художественную чуткость Федора Михайловича именно ко всякого рода мелочам своего фактурного выбора и вроде бы ничтожным подробностям творимого поэтического текста. Обыгранные мелкие детали, притом зачастую самого тривиального бытового порядка,

принадлежат к высоким и высшим достижениям художника-мастера (трюизмы быта как форма и прием психопозетики Достоевского).

Правомерно допустить гипотетически: если Достоевский, романист и публицист, уделял много сил и внимания детям России и детскому лику мира, то хотя бы некоторые стороны собственно детского устного словесного творчества должны были очутиться в его писательском обиходе. Проверка материалами подтверждает: в целом ряде творческих случаев Федор Михайлович действительно обращался к текущему устному поэтическому творчеству детей и подростков.

Идея популярной в наше время книги К. И. Чуковского «От двух до пяти» с известной точки зрения как бы предвосхищена или напрогночена Достоевским: его целенаправленный литературно-филологический и психологический интерес к речевому творчеству ребенка, отмеченному наивной лингвистикой и поэзией<sup>1</sup>, относится к середине 70-х годов XIX века. А. Г. Достоевская в письме из Старой Руссы 28 мая 1875 года мужу в Эмс сообщает, как их четырехлетний сын Федя (Ф. Ф. Достоевский) «часто поет громко:

*Придет серенький волчок,*

*Схватит Федю за бочок*

*И утащит во лесок*

*За ракитовый кусток»<sup>2</sup>.*

Вслед за этим Анна Григорьевна передает (цитирует) несколько Фединых реплик, соотнесенных в контексте письма с песенкой про «волчка». В том числе вполне пригосившийся бы и сегодня для коллекции К. И. Чуковского остроумный ответ малыша-

«речетворца» Феде в сцене бытового разговора с матерью. «Он очень просил меня купить мороженого; я ему обещала, но велела самому сторожить; раз он услышал крики мороженника и до того потерялся, что сначала бросился бежать ко мне, но, не добежав, выскочил за калитку и кричит няньке: “Сторожи его”; потом ко мне и с самым счастливым видом объявил, что принесли сахарно<e> мороженое, затем побежал вниз. Я купила. Когда стали есть его, то я просила держать во рту пока не растает и спрашиваю Федю: у тебя очень холодно во рту; он отвечает: “Очень холодно”. – Ну так не надо его есть. – «Нет, мама, у меня от мороженого очень горячо во рту!»»<sup>3</sup>

Достоевский профессионально подхватывает тему и придает ей систематизирующий, упорядоченный – уже писательский – характер: «Хорошо, кабы ты всякую подробность, которую мне пишешь о детях (о дочери Любе и сыне Феде. – В. В.), вписывала бы и для себя, на память, в особую тетрадку» (29<sub>2</sub>; 36). Анна Григорьевна отвечает: «<...> твоя мысль о записывании детских разговоров мне понравилась, и я заведу книжку <...>»<sup>4</sup>

О том, что в семействе Достоевский поощрялось и культивировалось детское красное словцо, «разговоры», близкие к фольклорно насыщенной речевой стихии, свидетельствуют и другие, многочисленные и характерные в сборе, факты. Так, Федор Михайлович в «Дневнике лечения в Эмсе» за 1874 год делает примечательную в этом ключе запись: «Сказка, рассказанная мне Федей 4 сентября/ 74 г., в Старой Руссе, поутру за чаем.

“Был дом, до потолка, как береза. (То есть такой большой). С жильцами. И вдруг попадают волк и арап. Они вошли в дом и всех съели”.

Феде три года и полтора месяца.

NB. Сказку эту он сам сочинил, на основании слышанных им сказок, разумеется. Но всё же сочинил. Тут замечательны слова: жильцы и попадают. Он, стало быть, уже знает вполне, что такое жильцы. Но еще любопытнее, что он знает

слово попадают и так вполне усвоил себе значение его» (27; 111). (Достоевский, вероятно, мог бы отнести сюда и наречие «вдруг».)

Судя по анатомии разбора и в целом по осмыслению Фединой «сказки», Достоевский относился к слову ребенка (детей) не менее серьезно, чем к слову взрослого человека, – угадывал в образчиках детской словесности нечто странное, с первого взгляда недоступное, логосное, то есть не существующее помимо ювенильного сознания и детских разговоров. В конечном счете теми же гносеологическими и психологическими причинами объясняется литературно-художественный интерес писателя к дразнилочному красному словцу в устах детей: рифмованным прозвищам и насмешливым присказкам к собственным именам, издевкам-портретам, подковыркам-эпиграммам, передразниваниям-прибауткам и т.п.<sup>5</sup>

Исследователь вряд ли имеет право усомниться в том, что Достоевский в малолетнем возрасте, вращаясь в кругу московских и даровских сверстников, родных братьев и сестер, испытал на себе игровое и психопоэтическое воздействие присловий-дразнилок в свой адрес. (За именем Федя, Федька, Федул и т.п. в детском фольклоре закреплены многие стишки-насмешки и подковырки<sup>6</sup>). Это был естественный этнографический процесс социализации личности юного Достоевского. Вынесенный из детства собственный фольклорно-дразнилочный опыт сыграл свою иницирующую роль не только в художественном творчестве, но и в домашнем литературном быту Достоевского. Известно, например, что Федор Михайлович, по воспоминаниям А. Г. Достоевской, прибегал к дразнящему подтруниванию над дочерью Любовью (Л. Ф. Достоевской): «Лилька-Килька любил ее называть»<sup>7</sup>. В другом случае Ф. М. и А. Г. Достоевские, пользуясь фольклорообразными прозвищно-дразнилочными именами сына («Федул») и дочери («Лилюк»), сочинили на них шуточную эпигramму «Не разбойничай, Федул» (17; 24), восходившую к жанру

детских рифмованных потешек-поддразниваний. См., например, запись в Словаре Даля: «Федул, чего ты губы надул?»<sup>8</sup> – именно эта потешка легла в основу упомянутой эпиграммы супругов Достоевских.

Иными словами, Достоевский-этнолог, так сказать, по-домашнему, изнутри знал психоидеологическую игровую природу детских дразнилок (малый жанр русского фольклора). Знал и творчески свободно, с эстетической дерзостью ввел их в свой художественный мир.

\* \* \*

Классическая рифмованная двухстрочная детская дразнилка в ее аутентичном виде дважды встречается (цитируется) в сочинениях Достоевского: в повести «Село Степанчиково и его обитатели» и романе «Братья Карамазовы». То есть в самом начале так называемого «второго начала» (возобновление литературных занятий после каторги) и в конце творческого пути писателя. Это своего рода символические меты озорного детского фольклора, которыми как бы умышленно окольцовано (поддержано, «омоложено») эстетически творчество Достоевского после сибирского перерыва.

Своеобразие литературных контактов писателя с пустычными, как может показаться, миниатюрами, извлеченными «вдруг» из позабытого «большой» литературой устного игрового поэтического искусства детей, настолько значительно, что требует отдельного обстоятельного разговора. Мы имеем дело с неким эталоном художественного фольклоризма-этнографизма Достоевского.

Конечно же, не явление народной детской дразнилки само по себе, взятое в узком, утилитарном или иллюстративном значении, было необходимо Достоевскому как этнологу. Писателя всегда – а в данном случае, быть может, особенно (детский вопрос!) – привлекла в первую очередь психологическая сторона фактов, обративших на себя его внимание. Уже в повести о степанчиковцах Достоевский

художественно исследовал психологический механизм детского дразнилочного творчества – ему отданы курьезно-ключевые страницы произведения.

Известный собиратель, классификатор и толкователь русской детской дразнилочной поэзии Г. С. Виноградов как будто не заметил, что маленькие насмешники и пересмешники направляли критические стрелы своей издевательской сатиры не только против ровесников, но и против «отцов», взрослого люда. Фольклорист как будто не заметил и того, что Достоевский в повести «Село Степанчиково» и романе «Братья Карамазовы» литературно воспроизвел и интерпретировал как раз эту сторону этнографической действительности: «дети» донимают («достают») «отцов» едкими подковырками-насмешками.

Объектом детской сатиры в «Селе Степанчикове» писатель выставил одиозную личность лакея Григория Видоплясова. Детские дразнилки в интертекстуальном поле повести, повинувшись принципу «устаи младенца глаголет истина», преследуют Видоплясова как свою законную жертву неотступно и доводят до форменного отчаяния.

Видоплясов и видоплясовщина инвариантны по отношению к Смердякову и к смердяковщине («Братья Карамазовы»). Тем более озадачивает, что образ степанчиковского лакея не получил достаточного раскрытия в литературе о Достоевском. Причина? Отсутствие этнологической поддержки, или, говоря проще, невнимание к дразнилкам – гиперхудожественному компоненту образа.

Фамильное прозвание Видоплясова было удачно отнесено когда-то к разряду «липких», наряду с такими именами персонажей Достоевского, как Липутин, Смердяков, Оплеваниев, Опискин, Обноскин, Лебезятников<sup>9</sup>. Похоже, это справедливо вдвойне: к Видоплясову, человеку с наихудшей в Степанчикове репутацией, неотторжимо «прилипают» разные дворовые прозвищные подковырки в рифму к его очередной вычурной фамилии, которую он сам себе придумывает, чтобы

избавиться от своей «необлагороженной фамилии-с» (3; 104). Степанчиковский помещик Ростанев, «дядя» повествователя Сергея Александровича, рассказывает ему о предыстории фамильного самосочинительства Видоплясова: лакея «дразнят, уськают, даже мальчишки дворовые его вместо шута почитают»; «сложили они <...> какую-то пакость в рифму на его фамилию. Он ко мне, жалуется, просит, нельзя ли как-нибудь переменить его фамилию, и что он давно уж страдал от неблагозвучия...» (там же).

Не без художнического азарта погружаясь в стихию народной детской языковой игры в именные дразнилки, Достоевский пародийно выстраивает видоплясовские рифмованные фамильно-прозвищные пары:

с а м о н а з в а н и е    В и д о п л я с о в а  
                                 Григорий Верный  
                                 уланов

д в о р о в о е    д р а з н и л о ч н о е    п р о з в и щ е  
                                 скверный  
                                 болванов

Ономастический идиотизм Видоплясова очевиден. Узвлненный конфузным исходом собственного именотворчества, он сочиняет новую замысловатую версию самоназвания: «Если уж мне суждено через фамилию мою плясуна собою изображать-с, так уж пусть было бы облагорожено по-иностранному: Танцев-с» (3; 105).

Степанчиковские острословы («мальчишки», дворня) откликнулись на фамилию «Танцев» с еще большей речевой находчивостью: «Только уж тут они такую ему рифму подыскали, что и сказать нельзя!» (там же). Читатель (вместе с повествователем Сергеем Александровичем) догадывается, что «подысканная» рифма оказалась скабрёзной, окончательно – с мужицкой соленой резкостью – дискредитирующей фамильные амбиции Григория Видоплясова.

В литературно-генетической ретроспективе автор «Степанчикова» следует фонвизинско-грибоедовско-гоголевской

традиции: наделять героев «говорящими» фамилиями (наследие классицизма). С одним существенным, однако, отличием: его, Достоевского, именованье подвергается интертекстуальным фольклорно-этнографическим пробам. Писатель находит социально-языковые корни избранных для литературного куража «говорящих» фамилий – в народной детской сатирической поэзии. Речевая психопозетическая игра с фамилией «Видоплясов» получает яркое завершение в экзотичной детской дразнилке, которая неотвязчиво, как «своя», «прилипла» к имени жертвы: «Гришка-голанец съел померанец» (3; 162). И хотя ее сочинение Видоплясов склонен приписывать «веселой» «дворовой девушке» Матрене (3; 114, 162), речитативный издевочный стишок про съевшего померанец Гришку – беспощадное оружие в устах «ребятишек маленьких-с»: от них нет «проходу» и «мочи», – жалуется Видоплясов, – «все мне следом кричат всякие дурные слова-с» (3; 162).

Представляется прозрачным конечное петербургское происхождение видоплясовской дразнилки-эпиграммы: словечки «голанец» (народная огласовка слова «голландец») и «померанец» – атрибуты западной культуры, проникшей в Россию через «окно в Европу». От «петербургских русских» (5; 26) дразнилка, высмеивающая причуды российских лже-«голанцев», каким-то затекстовым образом случайно залетела в степанчиковскую тьмутаракань, но отнюдь не случайно досталась Видоплясову: « <...> Кто сызмальства еще (говорит о себе Видоплясов. – В. В.) меня видел, говорили, что я совсем на иностранца похож, преимущественно чертами лица-с. <...> Из-за этого мне теперь и проходу нет-с (3; 162). Наружно «окультуренный» на европейский образец малообразованный «голанский» петиметр-лакей питает мистическую и рептильную слабость к иностранщине – с омерзительным русофобством истолковывает «культурную» разницу между женскими именами Аделаида и Аграфена в пользу «иностранного», «облагороженного-с» (3; 43). Он полон «дури-то немецкой» (3; 26).

Всей внешностью, костюмом, походкой, манерами, речью усиленно создает (как бы «выплесывает» церемонным «видом» – отсюда его фамилия) карикатурный образ «самой высшей деликатности» (3; 41)<sup>10</sup>. Как никто другой, Видоплясов, этот пред-Смердяков по сути своей, заслуживает право быть героем детской дразнилки, направленной против идиотского преклонения перед не лучшими сторонами внешней культуры Запада. Под пером Достоевского элементарная детская дразнилка – особое художественное средство в арсенале писателя – приобретает психоидеологическое значение серьезной общественной критики.

Творчески последний поэтический дразнилочный аккорд, заимствованный из уличной какофонии фольклорных подтруниваний-издевок, был взят Достоевским в романе «Братья Карамазовы». Если в «Степанчикове» детская персонифицированная дразнилочная миниатюра о «Гришке голанце» (либо другом имяреке: Ваньке, Петьке и т. п.) преследовала цель однозначной социальной критики-сатиры, то в «Карамазовых» Достоевский придал фольклорной подковырке-насмешке, вложенной в уста «русских мальчиков», иную, полисемантическую идейно-художественную функцию (парадокс, провокация, психологический нюансатор, катарсис).

...В 1940-х годах автору этих строк, жившему тогда в Среднем Поволжье, приходилось слышать в среде своих малолетних сверстников рифмованное игровое дразнилочное присловье «монах в синих штанах». Моему удивлению не было границ, когда я, десятки лет спустя, встретил эту же формулу дразнилки о «монахе» в тексте романа о Карамазовых... Хотя удивляться было нечему: фольклор традиционен, живуч, пластично переходит в устной форме от поколения к поколению и обнаруживает непредсказуемую связь времен и нравов.

Детская дразнилка «Монах в гарнитуровых штанах» (14; 163), не отмеченная, кстати, в комментариях

академического Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского, была известна писателю, по крайней мере, с конца 1870-х годов, когда стал контурно очерчиваться замысел романа «Братья Карамазовы». Но нет оснований сомневаться, что Федор Михайлович мог знать дразнилку о «монахе» много ранее, еще с детских лет (Москва, Даровое, Сергиев Посад).

В письме педагогу-писателю В. В. Михайлову от 16 марта 1878 года Достоевский сообщал: «Я замыслил и скоро начну большой роман, в котором, между другими, будут много участвовать дети именно малолетние, с семи до пятнадцати лет примерно. Детей будет выведено много. Я их изучаю, и всю жизнь изучал, и очень люблю, и сам их имею. Но наблюдения такого человека, как Вы, для меня (я понимаю это), будут драгоценны. Итак, напишите мне об детях то, что сами знаете».

Намеченный писателем детский план повествования в «Братьях Карамазовых» изначально предопределил: этнографическая атрибутика детства займет в романе подобающее место. Соответственно – традиционные и априорно обязательные дразнилочные речевые поступки в культурно-бытовом поведении детей. Это полностью подтвердил дефинитивный текст «Карамазовых».

Созидая мир скотопригоньевской Руси, Достоевский-этнолог творчески развил художественный опыт сюжетного преломления дразнилок, который накопился в работе над повестью «Село Степанчиково и его обитатели». Дразнилочный образ «Гришки» Видоплясова – рубежное сатирическое осмеяние русских лакейских пороков, словесная лубочная карикатура, раннее («репетиционное») изобличение открытой значительно позже и будто прозреваемой уже смердяковщины. Но подковырки-издевки, посвященные Видоплясову, психологически линейны, прямодушны и действительно схожи с народным лубком или фарсовой стилистикой балагана. Изощренный психологизм – такова, напротив, художественная

аранжировка детской дразнилки, вовлеченной в духовное пространство романа «Братья Карамазовы». Достоевский здесь достиг, казалось бы, немислимого: психологически (поэтически) соединил наиболее жестокосердый момент мальчишеской издевки-дразнилки с прегрешениями и величиим карамазовщины, этой грандиозной «земляной» силы богоспасаемого Скотопригоньевска.

Дразнилка в романе представлена и спектаклеподобно разыграна в двух формах-разновидностях: 1) классической фольклорной, то есть народной, традиционной и 2) спонтанно-окказиональной, возникшей – на той же, впрочем, фольклорной прозвищной основе – из сиюминутной потребности, по житейскому случаю, вслед происшествию. Первая, про «монаха», уже затрагивалась выше. Ее культурно-исторический источник – веками сложившееся отношение светской Руси к монашеской братии и затворнической жизни рядового деятеля русского монастыря (инока-чернеца). Отсюда обобщенный, неперсонифицированный и в принципе спокойный, констатирующий характер прозвищного дразнилочного рифмованного выкрика-подковырки: «Монах в гарнитуровых штанах!» (в романе принадлежит Илюше Снегиреву). По Словарю В. И. Даля, гарнитур, или, правильнее, гродетур – плотная шелковая ткань.

Резко иначе обозначен комплексный функциональный художественный смысл второй дразнилочной миниатюры («словечка») романа. С исчерпывающей изобразительной точностью Достоевский-бытописатель обрисовал, как возникает и действует тот сложный культурно-психологический механизм, который окказионально, будто из ничего, порождает в среде школьников обзывание-дразнилку унижительного свойства: «мочалка» (14; 187) – применительно к сотоварищу и сверстнику девятилетнему «русскому мальчику» Илюшечке Снегиреву<sup>11</sup>.

Обе детские дразнилки «монах...» и «мочалка», если судить по целостной

художественной логике романа, внутренне связаны между собой перекрестными отношениями карамазовщины и образуют своеобразный «дразнилочный диптих». Очевидна разница между ними: вербальная, генетическая, ситуативная и поэтико-техническая. Но разное и составляет художественную гармонию дразнилочного двуединства (диптиха).

Издевочный выкрик «Монах в гарнитуровых штанах!» – в своем роде мечь Илюшечки, бессильно-отчаянная, но «злобная и вызывающая» (14; 163), направленная против как бы всех братьев Карамазовых, в ответ на оскорбление, которое Дмитрий Федорович Карамазов публично нанес отставному штабс-капитану Снегиреву, отцу мальчика-мстителя. Сцена оскорбления ужасна (пик карамазовского безудержа) – исполнена трагедийных значений. «Рассердившись почему-то на этого штабс-капитана, Дмитрий Федорович схватил его за бороду < “рыженькая редкая бородка, весьма похожая на растрепанную мочалку” – 14; 180> и при всех вывел (из трактира. – В. В.) в этом унижительном виде на улицу и на улице еще долго вел, и говорят, что мальчик, сын этого штабс-капитана, который учится в здешнем училище, еще ребенок, увидев это, бежал всё подле и плакал вслух и просил за отца и бросался ко всем и просил, чтобы защитили, а все смеялись» (14; 176).

Здесь – один из наиболее пронзительных по художественной мысли концентров психоидеологической интриги романа. Сошлюсь на текст: «Дело в том, что после этого события все школьники в школе стали его мочалкой дразнить» (14; 187); «Мочалка, – кричат ему, – отца твоего за мочалку из трактира вывели, а ты подле бежал и прощения просил» (14; 188). Фатум события и его дразнилочного отпечатка-прозвища стал проклятием семьи Снегиревых и в конце концов безвременно свел Илюшечку в могилу.

Романный диалог внутренне пересекающихся дразнилок «мочалка» (по сюжету первична) и «монах» (инициирована «мочалкой») провокативен. Его

художественное энергичное значение драматизирует и в конечном итоге доводит повествование «Братьев Карамазовых» до кризиса (подобие катарсиса – смерть Илюшечки), чтобы разрешиться затем, на финальном отрезке романа, в актах христианского оптимистического умиротворения и согласия сторон: «Ура Карамазову!» (15; 197). Иначе и по сути (так противоположно обернулось дело) – «ура» тому самому, дразнилочному, «монаху», бывшему недавнему и ненавистному врагу Илюшечки Снегирева.

Как видно, Достоевский всего более и по преимуществу внимателен к психологической части культурно-бытового присутствия детской дразнилки в художественном составе романа. Писатель нашел в ювенильной дразнилочной игре утонченные и сложные духовно-нравственные начала. Так, например (развивая тему), в его изображении попытка Илюши Снегирева злобно оскорбить и вывести из равновесия Алешу Карамазова издевательским выкриком-присловьем «Монах в гарнитуровых штанах!» достигает парадоксального психологического результата. Алеша (не в пример степанчиковскому лакею) остается невозмутимо безучастным к речевой агрессии, отдавая себе, конечно, отчет в том, что у ребенка-«дразнильщика» нет и не может быть здравых представлений о «монахе» и монашестве: дитя – неразумно и не ведает чинов и состояний из жизни взрослых. Но спокойное, вроде бы равнодушное отношение «монаха» Алеши Карамазова к нацеленной против него дразнилке-оскорблению, наоборот, приводит самого Илюшечку в еще большее иступление: он «совершенно озлился, как зверенок» (14; 183). Далее и развиваются известные финишные события – они обусловлены сюжетно-психологическим оборотом обеих дразнилочных единиц в художественном массиве романа.

\* \* \*

Самое, быть может, любопытное заключается в том, что издевательские

присловья про «голанца», «мочалку» и «монаха» отсутствуют в российских фольклорных и лексикографических публикациях и, можно предполагать, не засвидетельствованы более никем. Такова еще одна – из необозримого их множества – этнологическая заслуга Достоевского.

Любопытно и другое. Русская классическая романная литература не пользовалась, насколько известно, материалами фольклорных детских дразнилок, вероятно, ввиду их мнимого ничтожества, духовного и общеэстетического. Исключение в этом плане составляет единственно Достоевский. Этого писателя интересовали все и всякие подробности русского житья-бытья, в том числе и момент исконного дразнящего слова, взятого в этнографической связке: «язык – общественный быт – традиция (предание) – эстетика – психология».

Как малая афористическая форма устного народного творчества, особый и, главное массово распространенный тип бытовых коммуникативно-речевых отношений, дразнилка привлекла к себе писательское внимание Достоевского скрытым в ней острым психологизмом, загадочной энергией дразнения-насмешки.

Художественно-психологический метод Достоевского универсален («всеяден»). Ничего неожиданного нет в том, что он впитал в себя и опыт народных детских дразнилочных речений. В том была для писателя некая, предопределенная его творческим своеобразием, литературно-этнологическая необходимость. В толще русского разговорного быта Федор Михайлович различил социально-психологический эффект дразнилок: их «ушераздирающее» и провоцирующее человека – причем сразу обе стороны, жертву и насмешника, – бытовые духовные значения. Страницы повести «Село Степанчиково» и романа «Братья Карамазовы», где предметом художественного воплощения стали дразнилочные присловья, ввели в «большую» русскую литературу новый, эстетически неприглядный и вроде бы даже

предосудительный, материал.

Персонажи Достоевского не столь уж редко испытываются дразнящим красным словцом – прозвищным именованием. Классическое, прямо-таки «лабораторное» художественное исследование окказионального ономастического процесса представлено в «Братьях Карамазовых» (перипетии рокового нравственного воздействия на Илюшу Снегирева дразнящего словечка «мочалка»). Отголоски русских озорных прозвищных историй и случаев-оказий явственно слышны в именнике (ономастиконе) Достоевского-пересмешника: граф Бутылкин, барон Помойкин, Взъерепенинов, Млекопитаев, Дурь-Зашибины, Раскольников, Дроздыха, Смердящая и т.п. (ср. с более поздними именователями изысками Антоши Чехонте). Писатель охотно и намеренно следовал дразнилочному принципу провокативного именованья своих героев (инвариант «голядка»/«господин Голядкин»). Психологический этнографизм живого дразнящего (обзывательского) именованья, в частности и не в последний черед, детского, – едва ли не главный генезисный первоисточник художественного ономастического принципа Достоевского.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Ср.: «Если бы потребовалось наиболее наглядное, внятное для всех доказательство, что каждый малолетний ребенок есть величайший умственный труженик нашей планеты, достаточно было бы приглядеться возможно внимательнее к сложной системе тех методов, при помощи которых ему удается в такое изумительно короткое время овладеть своим родным языком, всеми оттенками его причудливых форм, всеми тонкостями его суффиксов, приставок и флексий» (Чуковский К. И. От двух до пяти. Живой как жизнь. М.: Дет. лит., 1968. С. 17–18).

<sup>2</sup> Фольклорная песенка из детского репертуара смешанного, контаминированного характера: дразнилочных и колыбельных (нянькиных) жанров.

Ближих аналогов не обнаружено. – В. В.

<sup>3</sup> Достоевский Ф. М., Достоевская А. Г. Переписка. Л.: Наука, 1976. С. 168. Курсив мой. – В. В.

<sup>4</sup> Как сообщил мне Б. Н. Тихомиров, «тетрадка»-«книжка» сохранилась и готовится для издания к 500-летию рода Достоевских. – В. В.

<sup>5</sup> Об этом пласте русского фольклора см.: Виноградов Г. Детская сатирическая лирика. Иркутск, 1925. С. 10–11 и др.

<sup>6</sup> Виноградов Г. Указ. соч. С. 38, 39.

<sup>7</sup> Достоевская А. Г. Записная книжка 1881 года/ Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. Вст. ст., подг. текста и примеч. С. В. Белова. СПб.: Андреев и сыновья, 1993. С. 279.

<sup>8</sup> Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Гос. изд.-во иностр. и нац. словарей, 1955. Т. I. С. 404.

<sup>9</sup> Бем А. Личные имена у Достоевского // Сб. в честь на проф. Л. Милетич. София, 1933. С. 430. Здесь уместно следующее маргинальное указание: понятие-мыслеобраз «п р о з в и щ е» вошло в поэтический словарь Достоевского через повесть «Село Степанчиково», где впервые в творчестве писателя развернут и аналитически проакцентирован целый комплекс прозвищных именованья (3; 104–105 и др.). – В. В.

<sup>10</sup> Впрочем, характер Видоплясова сложнее, неоднозначнее, чем может показаться. Степанчиковский лакей – вариативный тип униженного маленького человека. Он по-своему несчастен и достоин сочувствия. Собственного сочинения стихи виршеплет Видоплясов непрочь напечатать под покровительством своего усадебного патрона Фомы Опискина и хочет знаменательно и с печалью озаглавить их «Вопли Видоплясова». По тогдашним временам «вопли» – это плачи, причитания, рыдания, стенания (ср.: вопленица – профессиональная обрядовая плакальщица, например, прославленная Ирина Федосова).

<sup>11</sup> Не будет напрасным заметить, что Достоевский этнографически точен в отнесении слова «мочалка» к прозвищной лексике унижительно-бранного ряда. Словарь В. И. Даля (по изд. 1955 г. Т. II. С. 354) зафиксировал бытование этого слова со значением «оборванец, попрошайка» в Псковской губ., на северо-западе России, в регионе, где находится Старая Русса, местечко-прототип Скотопригоньевска. В конце 1980-х годов слово «мочалка» как ругательная экспрессема в адрес старого человека встречалась мне и в Москве. – В. В.

ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ!  
(О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОЗДАНИЯ  
Ф. М. ДОСТОЕВСКИМ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ)

– Карамазов! – крикнул Коля – неужели и взаправду  
религия говорит, что мы все встанем из мертвых,  
и оживем, и увидим опять друг друга, и всех, и Илюшечку?  
*Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы.  
Эпизод. Похороны Илюшечки.*

Вопрос Коли Красоткина, вынесенный в эпиграф – это уже не детский вопрос. Это – вечный вопрос любого сознательного человека, страдающего утратой ближнего, человека, не защищенного перед этой утратой, по-детски открытого горю, в своем сиротстве пришедшего вдруг к тому рубежу, когда готов заявить свой неутешный протест всему миру, ставшему вдруг пустым, самой логике жизненного устройства: «Я этого мира принять не могу!» Каждый человек хотя бы раз погружался в пучину такого страдания. И отчаяние подобного отъединения как мучительный рубец давало о себе знать в дальнейшем, ослепляло болью, возвращало к переживанию утраты ближнего.

Достоевский также знал эту бездну, лично пережил это безумие. 1864 год – год смерти жены и брата, стал для писателя таким трагическим рубежом. С неумолимой жестокостью он обозначил для Достоевского ту грань, которая отделила прошлое от дальнейшего будущего. Мир раскололся. «Вся жизнь переломилась разом надвое. В одной половине <...> было все <...>, а в другой <...> ни одного сердца, которое бы могло мне заменить тех обоих. <...> Буквально – мне не для чего оставалось жить <...>», – так писал годом позже Достоевский о себе, о своем кризисном тогда состоянии (282; 116). Боль утраты перечеркнула все живое. Разрушены все связи, представления. Отвергается сама возможность жить.

Смерть дорогих ему людей словно вырвала Достоевского из космоса личности и заставила увидеть себя иначе – лучи иной

ценностной ориентации пронизали все его прошлое, выявляя его новый смысл. «<...>Я тут в первый раз почувствовал, что их только и любил на свете и что новой любви не только не наживешь, да и не надо наживать. Стало все вокруг меня холодно и пустынно. <...> новую жизнь выдумывать! Мне противна была даже и мысль об этом <...>», – это выдержка все из того же письма Федора Михайловича (282; 116–117).

Переживания мучительного для Достоевского года, тем не менее, далеко продвинули его в познании самого себя, всего своего прошлого и бытия вообще под углом определения ценности жизни самых близких ему людей и признания неразделимой связи с ними. Погруженный во мрак холодного отъединения от всего мира, он тянулся всей душой к тем ускользающим глубинам прошлого, которые были озарены единственно живым для него – живительным – светом любви к тем, кого вдруг не стало. Кончина их делала свет этой любви нестерпимым, и сам уход этих дорогих, близких ему людей был превращен Федором Михайловичем в новую форму существования – духовную. В ней они стали его верными спутниками, его путеводителями.

Всё было пересмотрено Достоевским в свете тех переживаний. Они отразились на всей системе взглядов писателя и, конечно, отложились в его творчестве. Здесь необходимо напомнить, что печальные события 1864-го года накладывались на всю духовно напряженную ткань жизненного опыта Достоевского: его увлеченность

революционными идеями, петрашевцы, 1849-й год, смертный приговор, эшафот, новый приговор, Сибирь, каторга. Много позже, вспоминая о самом страшном моменте в своей судьбе – об эшафоте, Достоевский писал: « <...> Десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти. В эти последние минуты <...>, углубляясь в себя и проверяя мгновенно всю свою <...> жизнь», мы не находили своей вины, т. к. « <...> то дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия <...> – представлялись нам <...> чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится!.. И так продолжалось долго. Не годы ссылки, не страдания <...> – ничто не сломило нас, и наши убеждения лишь поддерживали наш дух сознанием исполненного долга <...>» (21; 133).

Таким образом, задолго до 1864-го года Достоевский имел уже резко запечатленный в душе опыт встречи со смертью. Но как отличался этот опыт далекого 1849-го года от потрясения при утрате жены!

Действительно, переживания по поводу смертного приговора, вынесенного лично ему, Федору Михайловичу Достоевскому, как видно из приведенного текста статьи 1873-го года – это переживание только утверждает его, тогда молодого человека, в своей «правоте», обряжая его на многие годы вперед в жертвенные одежды мученика: он гибнет за священные гражданские идеалы. Сама смерть на эшафоте как бы укрепляла дух его, ибо не прерывала нити духовной его жизни: он погибал за высокую идею. Взгляд же на свою жизнь, как на подвижническую, позволял оценивать вынесенный приговор как рыцарскую мету самой благородной нравственной пробы. Глубокий же резонанс в обществе, вызванный смертным приговором петрашевцев, придавал их позиции новые активные силы, утверждая их опыт исканий социальной справедливости как важный и необходимый. Неизбежность наказания, возможность смерти как бы отмечали жертвенную правду их устремлений. Поэтому встреча Достоевского со смертью в 1849 году могла не только смело проявить смысл его исканий, но и укрепить духовную

их основу. Действительно, судьба отдельного человека, пересекая смертный рубеж, становилась достоянием общественной жизни и осознавалась как необходимая для людей, для народа, для страны. Таким образом, её нить не пресекалась. Наоборот, она становилась крепче. Потому в системе «Дневника писателя» в изложении Достоевского событий, далеких по времени, понятие “эшафот” выступает как общественно значимый элемент, как мета, прилагаемая писателем к своей личной характеристике для напоминания современникам о том, что он – тот самый общественный деятель, который отмечен высокой жертвенной печатью.

В 1873-м году напоминание об этом трагическом моменте его судьбы было необходимо: оно нужно было писателю как ключ доверия к духовному миру современников, т. к. в их сознании “эшафот 1849-го года” являлся важным, жгуче неотразимым знаком времени – нравственным камертоном XIX века. Такое расположение общественности к себе было необходимо Достоевскому, ибо в момент написания «Дневника писателя» он был озарен уже другой идеей и хотел быть понятым, услышанным.

Рассказывая о переживаниях петрашевца, приговоренного к смертной казни и тем самым шагнувшего в жизнь вечную, он желал поведать о «перерождении своих убеждений» – тех самых убеждений, которые и привели его к эшафоту, т. е. к жертвенной славе, к апофеозу его мученической правды. Теперь Достоевский должен был рассказать о новых своих общественных взглядах – и при этом не потерять доверия современников. Понятие “эшафот” – именно как ключ огромной силы общественного воздействия – было необходимо Достоевскому для того, чтобы завладеть вниманием, сочувствием, доверием современников. Такая атмосфера открытого к себе отношения давала писателю возможность прямого воздействия на русское общество, ибо он остро осознавал теперь ложность тех революционных, разрушительных идей, которыми был серьезно увлечен в 1840-е годы.

Теперь перед ним стояла задача: указать современникам и н ы е – н о в ы е ценностные ориентиры в духовном становлении общества. Он мог уже говорить об этом – как о хорошо продуманном, прочувствованном. Это «новое» осознавалось писателем как футурологическая, жизнеутверждающая идея, способная оздоровить общество. В свете раскрывшегося ему – «не сразу, постепенно, исподволь» – нового понимания развития общества Достоевский называет социальные и духовные искания 1840–1850-х годов, которые продолжали и венчали собою бурные годы декабризма «фальшивыми идеями», овладевшими русским обществом. Недаром его статья, в которой он с такой открытостью рассказывает о своих переживаниях перед эшафотом, именно так и озаглавлена – «Одна из современных фальшей» (21; 125–136).

Будучи общественником, деятелем по натуре, Достоевский хотел указать такой путь к гармоничному развитию общества, к которому сам он пришел через трагический для него 1864-й год. Действительно, этот год дает писателю совершенно иной жизненный опыт. Не утверждение своей правды, своей воли. Нет! 1864-й год открывает ценность каждого человека и подводит его к идее утверждения себя через другого. Достоевский открывает, что своя правда, своя воля могут существовать только под углом признания ценности жизни другого человека, неразделимой связности с ним, согласования своей правды с правдой другого. Мало того, проверка своей значимости через другого. Без этого собственное ощущение реальности теряет масштаб своего измерения, становится бессмысленным хаосом. Поэтому свое – весь внутренний духовный мир – теряет как бы всякий смысл, рушится при утрате близких людей. Их уход, кончина как бы обрывают нити и своего бытия, превращают в ничто свой мир, который мог быть, существовать, только в состоянии близкого, диалогического отражения.

Смерть жены и брата подводит Достоевского к такой трагической черте, когда он понимает, что «не для чего

оставалось жить <...>, противна <...> даже и мысль об этом». Оказалось, что смерть близкого человека коснулась всего. Остановилось всякое ощущение жизни. Она просто прервалась.

В свете этого нового взгляда на себя, на мир, на осознание себя в мире, именно 1864-й год добавляет разительно новые черты в миропонимание и мировосприятие писателя. Этот год завершает огромную внутреннюю работу в личностном становлении самого писателя. Медленно, как бы исподволь, новое ощущение, понимание реальности захватывает все сферы, все стороны творчества Достоевского. Кончина Марии Дмитриевны Достоевской в этом процессе имела, безусловно, огромное значение для писателя. Смерть брата повторила и усилила чувства потерянности и утраты, сложившиеся в виду смерти жены, придав переживанию писателя большую остроту, выпуклость, углубив борозду страдания, сиротства: «<...> Их нечем заменить <...>, я их только и любил на свете <...>. Стало все вокруг <...> пустынно».

Однако, рассказывая в 1873 году историю перерождения своих убеждений, Достоевский не называет ни имени своей жены, ни имени своего брата. Он пишет об этом так: «Нет н е ч т о д р у г о е изменило взгляд наш <...> это <...> не так скоро произошло, а постепенно и после очень-очень долгого времени <...>. Мне т р у д н о рассказывать историю перерождения моих убеждений – э т о не для фельетона» (21; 133–134).

Таким образом, сообщая своим читателям о перемене своих убеждений, Достоевский указывает на то, что на долгом жизненном пути было и «нечто другое» – не только терновые лавры эшафота, но и целомудренно скрываемое, сокровенное, тайное, личное, не рассчитанное на фельетонное изложение. Однако, это «нечто другое» было настолько велико и важно, что определило пересмотр его убеждений. «Записные книжки» писателя помогают многое понять. Записи о смерти жены и переживание ее Федором Михайловичем резко отличаются от других.

«16 апреля. Маша лежит на столе.

Увижусь ли с Машей?...» (20; 172) – это запись о смерти жены писателя – Марии Дмитриевны Достоевской. Она сделана днем позже.

А год спустя Федор Михайлович писал А. Е. Врангелю: она «была самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, которых я знал во всю жизнь. Когда она умерла, я, хоть мучился, видя <...>, как она умирает, хоть и ценил и мучительно чувствовал, что я хороню с нею – но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землею. И вот уже год. А чувство все то же, не уменьшается» (282; 116).

Тяжелая, невосполнимая утрата требовала каких-то сущностно необходимых, огромно важных себе замещений. Случившееся томило «пустотой», «страшило». Требовались какие-то защитные формы – и таких масштабов, чтобы душа не была разорвана страданием о навечно утраченном.

Страдальческая, живая сила, воля, горячее напряжение находят соответствующие формы. Жизнь, не ставшая еще памятью, сама определяет себе новые черты, ищет нужный себе канон: «самая честнейшая», «самая благороднейшая», «великодушнейшая». Образ безвозвратно ушедшей жены возносится высоко над привычной реальностью. Образовавшаяся пустота с уходом жены заполняется Достоевским медленными размышлениями о себе, о ней, о своем браке. Они невольно соотносятся с мыслями об идеале, о высшем предназначении человека, о Христе, о вечном. Вот эти записи:

«Есть ли в таком случае будущая жизнь для всякого я? Говорят, что человек разрушается и умирает весь. Мы уже потому знаем, что не весь, что человек, как физически рождающий сына, передает ему часть своей личности, так и нравственно оставляет память свою людям <...>, то есть входит частью своей прежней <...> личности, в будущее развитие человечества. <...> Христос весь вошел в человечество, и человек стремится преобразиться в я Христа как в свой идеал»;

«<...> после появления Христа, как идеала

человека во плоти, стало ясно как день, что высочайшее, последнее развитие личности именно и должно дойти до того <...>, чтоб человек <...> из своей личности, из полного развития своего я смог как бы уничтожить это я, отдать его целиком всем и каждому <...>. И это величайшее счастье»;

«Человек стремится на земле к идеалу, – противоположному его натуре. Когда человек <...> не приносил любовью в жертву своего я людям или другому существу (я и Маша), он чувствует страдание и назвал это состояние грехом»;

«Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой, – невозможно. Закон личности на земле связывает. Я препятствует. Один Христос мог <...>»;

«Учение истинной философии – уничтожение косности, то есть мысль, <...>, то есть Бог, то есть жизнь бесконечная» и т. д. (20; 172 – 175).

Эти записи Достоевского, рожденные мыслью, обожженной горем, очень важны для писателя, а вслед за ним и для нас. Они приоткрывают психологию страдания Достоевского, великие орбиты его одинокого, страдальческого пути. В них, как горячий пульс, бьется живое, кровное – утраченное: «Я и Маша». Именно такая приписка, словно кровоточащая рана, вспыхивает в конце одного из абзацев этих размышлений. «Я и Маша» – вот та живая, режущая болью, точка, в которой собрались все мысли – земные и вечные. Собрались, чтобы задержать образ родной, ушедшей – «уяснить», как говорит герой повести «Кроткая», близкое, но уже недостижимое время, чтобы задать туда, в прошлое, какие-то вдруг ставшие очень важными вопросы – и натолкнуться в который раз! – на их бессмысленность, ибо ответ «на столе лежит» (24; 15 – 16).

Дневниковые записи Достоевского предельно точно раскрывают его психологическую установку на соединение своего страдания с крупными формами вечных образов, что поднимало ввысь, выпрямляло его лично, как человека, одаривая хоть каким-то исходом, и обещало его «Маше» вечную будущность. В

страдании складывалась целостная созидательная система воскресения. Она соединялась с христианской моделью мировосприятия. И это – была жизнь! Во что бы то ни стало! В памяти! Переведенная в мысль! Закрепленная словом! – В словесном образе, напоенном воспоминаниями и страданием.

В этой связи стоит обратить внимание на слова «воспоминание, память», на их лексико-этимологический объем, необходимый для восприятия словесной живописи художественной идеи Достоевского. Восходя к слову «мнить», которое образуется из индоевропейской основы: \*men-, что означает «думать, быть возбужденным душевно», они имеют в греческом языке однокоренные слова, имеющие значения: воспоминаю – помню – памятник – могила.<sup>1</sup> Таким образом, уже в развитии значений самого слова «память» выстраивается такая смысловая вертикаль, которая определяет собой движение и развитие всего взаимно обусловленного понятийного ряда: могила – воспоминание. Из этого ряда жизненных реалий вырывается понятие “воспоминание” как отличное от конкретно-реальных понятий (“могила” – “памятник”). Оно обозначает действие (“воспоминание”), которое уводит от реальности, прорастая во внутренний мир человека новым активным началом в его душе. Такое действие “воспоминания” порождает новую, важную, систему понятий – духовную.

Как представляется, развитие и связь слов “воспоминаю – помню – памятник – могила” отражает лишь общий процесс осмысления действительности, и Достоевский, как человек, захваченный глубоким страданием, не был исключением в своих душевных переживаниях и духовных исканиях. Он полностью ушел в мир воспоминаний. Душа Достоевского проходила мучительные пути, чтобы преодолеть смерть – и уже в «осиротевшем» бытии сделать возможной будущую, такую необходимую, новую встречу.

При этом не забудем, что писатель относил мир памяти к идеальной

действительности, которая существует так же реально, как и материальная.

Достоевский говорил о существовании в каждом человеке внутреннего, духовно-нравственного мира, восприятие которого начиналось с желания остановить хотя бы одно, но дорогое впечатление постоянно уходящей жизни. В наше время А. А. Ахматова сказала об этой особенности человеческой души так: «Чтоб вечно жили дивные мечтанья, / Ты превращен в моё воспоминанье». Эта строка, словно формула, закрепляет позыв сердца и души человека (а не только художника) к воспроизведению реального в образе идеального, духовного воплощения. Память в этом процессе есть только изначальный толчок к духовному проникновению в жизнь.

Трагическое: «увиджусь ли с Машей?» – сублимировалось писателем в создание незабываемых женских образов. Бурная, взрывная Настасья Филипповна, неотразимо-притягательная Грушенька, затаенная тихая Кроткая. Именно она, Мария Дмитриевна Достоевская, отмечает эти образы опытом личного страдания писателя, опытом его переживания смерти жены.

Из приведенных выше записей видно, что со смертью Марии Дмитриевны перед Достоевским, как бы лишившимся всего, как бы потерявшим весь земной мир, встает огромный живой вопрос «на что (он) в честь ее способен?». Это – вопрос Гамлета, потрясенного смертью Офелии. Достоевский идет той же дорогой отчаяния и страдания. Вспомним текст Шекспира:

<...> Кто тут, горя,  
Кричит на целый мир? <...>  
– Я любил  
Офелию, и сорок тысяч братьев  
И вся любовь их – не чета моей.  
Скажи, на что ты в честь ее способен?<sup>2</sup>

Писатель загадывает: дать своей избраннице будущую жизнь. Именно о такой мечте на всю свою будущность, об обете воскресить Машу, данном в тот трагический год, говорит еще одна запись, сделанная в той же «Записной книжке» 1863–1864 гг.: «Маша, брат, будущность, потом настоящее» (27; 93). Такая запись свидетельствует о том, что

задача ясна, она сформулирована – и значит, Федор Михайлович готов ее решать. Вот внутренний, глубинный импульс, приводящий в движение всю творческую вселенную Достоевского.

Эта запись Федора Михайловича, возникнув на самом гребне его внутренних переживаний, когда не было сил продолжать жить – эта запись говорит о глубинном кризисе, в котором он тогда находился. Но не только. Она свидетельствует также и об огромном напряжении воли, собранной на то, чтобы подавить в себе чувства и обозначить, хотя бы в самом общем виде, как формулу – смысл своего пребывания в этом мире. Теперь – без них. Запись предстает перед нами как жестко прочерченный план его пребывания здесь, в нестерпимой реальности – ради ушедших. Решение принято, воля собрана. Лаконизм – шекспировский: сначала «будущность, потом настоящее». А это означало, что первое дело, кровно связующее его с покинувшими его женой и братом – это восстановить, воскресить их.

От скорбной записи: «Маша лежит на столе» – до плана действия, выраженного сжато и твердо: «будущность, потом настоящее» – пройден мучительный путь. Пройден, чтобы приблизить встречу – ожидаемую, загаданную тогда, в 1864-м году.

Через несколько лет эта душевная боль отзовется тем же больным нервом в рогожинском восклицании: «Ходит! Ходит? Ходит...» (8; 506). Вот она, эта первая встреча! «Безумцам» дано только слышать ее шаги: «Ходит! Ходит? Ходит...». Эту сцену проникают нервными токами личной встречи Федора Михайловича с Марией Дмитриевной, со своей Машей. И этот нерв, это личное возбуждение писателя вносят в текст горячую пульсацию крови, живое воодушевление, неподдельное жаркое чувство. Всю глубину и неотразимое разнообразие этих оттенков писатель передает тремя знаками, которые точно вписывают в беспредельность эмоционального поля слово «ходит» – восклицание, вопрос, утверждение.

Действительно, эти знаки превращают спрессованную область чувств в качественно

новую художественную ткань произведения – в бессловесную. Подчиняясь только знаковой передаче, она точно передает состояние тех, кому выпало слышать поступь воскресшей героини. Её эмоциональная полнота – от восторга до сомнения и утверждения – создает картину потрясающего эмоционально-звукового воздействия на читателя. Такое жестко-лаконичное выражение скрытых, подавляемых чувств, способно передать напряжение не только живой человеческой души, но и, вырвавшись за пределы реальности, охватить необъятную область духовного, эстетического воздействия. Слова остаются здесь, в романе, а знаки указывают, раскрывшуюся область иного видения жизни. Ведь рогожинское: «Ходит! Ходит? Ходит...» – родственно воздействию картины А. А. Иванова «Явление Христа народу». Тут и восторг, и ужас, и недоумение, и крест обретения новой данности.

Роман «Идиот» – «Первая проба пера».

Голос исстрадавшегося героя Парфена Рогожина – это голос самого автора, победившего реальность и вырвавшегося за ее пределы. И он венчает произведение писателя, оставляя его пространство открытым.

Первая проба возвращения своего, личного в реальность, но уже на ином витке существования. В честь ушедшей создается целый мир – художественный космос произведения.

На пути обретения идеального мира как реального Достоевский создает в романе «Идиот» образ Настасьи Филипповны. Её «Воскресшая» борется за свою свободу, честь и достоинство. И погибает с тем, чтобы начать свой путь, пророчески обозначенный ее именем. Путь этот всецело пролегал уже в безмолвном пространстве романного запределья. След глубоко личных, психологических и художественных прозрений Достоевского лежит (а лучше сказать – запечатлелся) в последней сцене романа «Идиот», когда героям у подножия навечно упокоенной, непривычно тихой Настасьи Филипповны становятся явственными ее шаги. Героиня своим уходом

из жизни выстраивает новое поле своего существования, отвоевывает новое художественно ценное пространство, которое открывается внезапно, за чертой повествования, и определяет, как представляется, иную художественную вертикаль произведения. Действительно, весь мир, который только что так шумно и ярко, так пронзительно и мучительно плескался перед читателем, весь мир вдруг отступает, перестает быть. В свои права вступает гамлетовское: дальше – «молчание». И все меняется. Это «молчание» уводит читателя за пределы романного действия. Но куда?

В мрачной обстановке рогожинского дома двум безумцам слышатся смущающие душу шаги погибшей героини. Такое воскресение невольно приобретало черты мистического свойства. Оно невольно вставало в ряд мрачных фантазий с ужасами летающих гробов, восставших из могил мертвецов, распадающихся в прах видений. Однако, такого ли воскресения жаждала душа Достоевского?

Нет! Писателю нужна была встреча. Теперь он мечтал о ней гораздо больше, чем о реально невозможной встрече.

Смерть жены по-новому обозначила весь ее образ, а также все личное, что связывало его с нею, всю их совместную жизнь, которая началась тогда в Сибири. В свои права художественной правды вступала действительность, которая за эти годы превратилась в историю. Личная жизнь получала полноту через историческое осмысление, через исторические оценки. Он, «революционер», попавший туда после 1849-го года и жертвенно-пострадавший как спаситель народа. Она – представитель того самого народа, с которым Достоевский вплотную столкнулся в ссылке. В ней была заключена частица того народа, для которого он, спаситель, был всего-навсего каторжанин, «несчастный», и узнавание которого медленно и верно врачевало его душу. «Не годы ссылки, не страдания <...> – ничто не сломило нас <...>. Нет, нечто другое изменило взгляд наш <...>», – заявляет Федор Михайлович в «Дневнике писателя»,

рассказывая историю перерождения своих общественных взглядов и убеждений. Тайное, личное, сокровенное, что не предназначено для фельетона, уходит в незаметную формулировку: «нечто другое».

Другими словами, писатель говорит так и в такой форме, как только может, по его мнению, позволить выразить себя фельетонист, рассуждая по поводу общественно-исторических идей, не нарушая стиля статьи и не выходя за рамки жанра фельетонной публицистики. «Повторяю, это – соприкосновение с народом», – такая публицистическая формулировка удобна для очерка о развитии идей деятеля общественно-демократического движения. Она полностью подавляет незаметные слова, маленькую фразочку: «нечто другое», придавая им иной, как бы не обязательный смысл.

Однако за этим неприметным выражением стояло что-то, гораздо более сильное, чем сама каторга, чем вся система наказания, способная ломать, даже убить осужденного. В этих словах ощущалось то, что могло менять человека. И поэтому совсем не случайно, что деятель, бывший «революционер», в своем очерке все-таки отмечает присутствие этого, «другого» фактора, называя его умозрительно и отвлеченно: «соприкосновение с народом». Стало быть, эти два словечка были важны Достоевскому – не меньше, чем общественно понятное «соприкосновение с народом». При этом следует подчеркнуть, что фраза «нечто другое», хоть и не предназначенная для «фельетона», нужна была самому писателю – и именно в этом контексте. В ней писатель прятал свое, личное, в ней – мета его прошлого, в ней – память о той, что была тогда рядом. Она!

Выглянуло, как тень, показалось родное лицо. И скрылось за высокими словами, полными общественно-гражданского пафоса: «жертва», «соприкосновение с народом». Так жизнь погасшая вдруг обнаруживала себя, обретая иные, тихие черты, и снимая ходульность высокого пафоса служения, долженствования и жертвенности. Публицистический текст окрашивался

личным: в нем высвечивался мир собственной судьбы писателя. Реальный образ когда-то любимой женщины обретал исторически осмысленную определенность. Живая душа писателя сохраняла этот образ, оставшийся в воспоминаниях, и трудилась, приближая будущую встречу с ней. Образ Марии Дмитриевны, осознаваемый писателем как образ спасительницы его в каторжной пустыни, как женщины, открывшей ему всю глубину его общественных заблуждений, выстраивался, существовал в его душе как светлый, идеальный. И сердце писателя спешило уготовить своей избраннице, «честнейшей», «благороднейшей» и «великодушнейшей» женщине, самую дорогую, идеальную форму, существующую в его сознании как идеал – форму художественного образа. Спешило уготовить, чтобы заключить в эту форму, обнять ею свое – дорогое, родное, выстраданное. Живое! Свой «чистейшей прелести чистейший образец»!

В романе «Братья Карамазовы» также появляется героиня, наделенная чертами Марии Дмитриевны Достоевской – Грушенька, Аграфена Александровна Светлова. Она входит в этот роман как героиня, несущая предощущение будущего. Коварная, опасная, но и желанная, заставляющая многих страдать, безумно любимая Дмитрием Карамазовым. В духовном мире Алексея Карамазова она выделяется особо тревожным нервом героя и живёт до поры до времени как загадка. Она кажется ему то жестокой насмешницей над Катериной Ивановной, то необузданной как «тигр», а то вдруг предстает перед ним «сестрой» искренней, открывающей ему глаза на весь «скотопригоньевский мир», который включает в себе простор «живой жизни». Той реальной действительности, за «клейкие листочки» которой держится Иван. Искренняя, смелая, она не боится ударов судьбы и крепко стоит на ногах. Отказываясь от грубых ценностей денежного мира, она готова разделить участь Дмитрия и вместе с ним отправиться на каторгу, «землю копать».

Именно в ней, героини жизни, заключена, по мысли писателя, истинность русского

деятельного характера, правда и справедливость современного женского типа. Для Достоевского Аграфена Александровна Светлова является «лучом света» «текущей действительности».

Необходимо подчеркнуть, что не только живые черты сходства с Марией Дмитриевной отличали образ Грушеньки. Корни этого женского образа полностью лежат в стихии народного творчества. Неслучайно, «луковка», которую она подает Алеше Карамазову (в виде легенды), разворачивается в еще один ряд фольклорных образов, связанных с волшебным яблочком, которое показывает обратную, привлекательную сторону жизни. В то же время неожиданным нервом узнавания в ней отразились многие героини русской литературы. То в образе Грушеньки мелькают черты пушкинской Клеопатры, то вдруг проступают резкие черты властной купчихи Островского, то вдруг предстает перед нами растерянная женщина, только что получившая письмецо от своего «обидчика» и переживающая ответственный шаг своей будущей самостоятельной жизни, своего «накануне». И тогда сама ситуация настолько роднит этот подвижный, привлекательный женский образ Достоевского с художественными образами пушкинской Татьяны и тургеневской Елены, что невольно ставишь героиню Достоевского в один с ними ряд. Всё живёт, играет и переливается красками мгновенного узнавания в этом образе.

Однако не только это отмечает образ Грушеньки.

Героиня обозначена еще одной чертой. Она, вся сотканная яркими цветовыми тонами узнаваемых героинь русской литературы и народной культуры, имеет и свою особую самостоятельность, и художественную задачу в романе «Братья Карамазовы»: она обнаруживает себя как героиня предощущаемая. И неспроста. Подобно Пушкину писатель выводит в литературный мир свою «мадонну чистой красоты». Такое впечатление оправдано. В системе «Жизнеописания Алексея Федоровича Карамазова» именно она явится

в своих жизненно важных земных делах и заботах – явится как будущая жена будущего каторжанина Дмитрия Карамазова и будущая мать его ребёнка.

К этому ребёнку стягиваются все нити «Жизнеописания Алексея Федоровича Карамазова», в системе которого роман «Братья Карамазовы» «только первый роман», повествующий «лишь об одном моменте из первой юности» главного героя. И если в первом романе, действие которого отодвинуто на тринадцать лет назад, речь идет о «мальчишках вечного предвечного» времени, то во втором романе «Жизнеописания» выстроятся контуры того будущего, предощущением которого живет все действие романа «Братья Карамазовы».

Вот туда, в будущее, писатель и вынесет дорогое ему имя – имя, которое полностью обусловлено его личными воспоминаниями о жене, заветной мечтой о новой, будущей встрече с ней и клятвой сделать то, «на что <...> в честь ее» никто другой «не способен». Мария Дмитриевна, как новая героиня Достоевского, появится во втором романе «Жизнеописания Алексея Карамазова» и заставит все увидеть в живых лучах счастья и жизнеутверждения. Она появится в новой своей ипостаси и осветит своим светлым именем всю художественную «даль романа» писателя – Мария Дмитриевна Карамазова (Достоевская).

К этой встрече автор шел всю свою послекаторжную жизнь, и мир этой встречи не должен был быть гамлетовской «тишиной» смерти. Второй роман «Жизнеописания» должен был выстраиваться писателем как перифраз конца романа Л. Н. Толстого «Война и мир». В нем должна была биться новая, такая же прекрасная, жизнь, как и у героев романа Толстого. Как Наташа Ростова, захваченная восторгом и токами нового бытия, поднимала пленку своего ребенка, так и Аграфена Александровна Светлова должна была показывать всему «земному миру» своё, выстраданное – своё кровное «дитё»: девочку, Марию, дочь Дмитрия Федоровича Карамазова, рожденную не в хоромах именитых дворян, а в ссылке, «во глубине сибирских руд», т. е.

там, где в судьбу самого Достоевского вошла как жена простая женщина, Мария Дмитриевна Исаева, обратив душу писателя к самому прекрасному в жизни – к самой жизни.

Так момент личного предстояния Федора Михайловича Достоевского перед своим сибирским прошлым, которое было «снято» дорогим ему именем Мария, должен был найти свое место в последнем его произведении. При этом трагические и драматические черты личной жизни, должны были приобрести новые черты художественного воплощения. Ведь ожидаемое событие рождения девочки Марии в «Жизнеописании Алексея Федоровича Карамазова» должно было означать, что будущность героев, их новое бытие начинали определяться созидательными законами «вечного» времени, обещающего гармонию и радость жизни, основанную на нравственных и духовных началах. Это определяло состояние всех героев «Жизнеописания Алексея Федоровича Карамазова» как их предстояние перед их общим будущим. В свете этого художественная перспектива всего произведения обретала черты созидания и творчества этой второй действительности, которая была связана с рождением девочки Марии. Ее образ формировался писателем в лучах вечных образов, поэтому имя Марии облакалось писателем в духовно сияющие облачения ожидания и выстраданности. Божественно высокие образы Спасителя, Богоматери, духовных путеводителей человечества по-новому проступали в художественном мире Достоевского.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Черных П. Я. Историко-этимологический словарь русского языка. 3-е изд. Т. 1. М., 1999. С. 536.

<sup>2</sup> Шекспир У. «Гамлет» в русских переводах. XIX–XX веков. М., 1994. С. 142 – 143.

## ЭКСПЕДИЦИЯ В ДАРОВОЕ (2005)

В июне – августе 2005 г. в имении Достоевских «Даровое» Зарайского района Московской области работала комплексная научная экспедиция, организованная Коломенским государственным педагогическим институтом при финансовой поддержке РГНФ. В ней участвовали филологи, фольклористы, археологи, реставраторы, дендрологи. Была проведена научная реконструкция усадьбы, на основании которой планируется создать здесь музей-заповедник.

### *«Незамечательное место»*

Усадьбу «Даровое» Достоевские купили летом 1831 года. На этот шаг их более всего, конечно, толкала забота о детях. Один из семерых, Фёдор Достоевский, сам обзаведясь потомством, вложит в уста своему alter ego, Парадоксалисту «Дневника писателя» замечательные слова: «Человечество обновится в Саду и Садам выправится <...> дети людей должны родиться на земле, а не на мостовой. Можно жить потом на мостовой, но родиться и всходить нация, в огромном большинстве своем, должна на земле, на почве, на которой хлеб и деревья растут» (23; 96). В обретении Дарового со временем проступил провиденциальный смысл. Посетив на склоне лет места своего детства, Ф. М. Достоевский сделал многозначительное признание: «это маленькое и незамечательное место оставило во мне самое глубокое и сильное впечатление на всю потом жизнь» (25; 172).

Вместе с тем по истории Дарового можно изучать историю «странной любви» России к Достоевскому. В двадцатые годы прошлого века в усадебном доме был открыт первый в мире музей писателя, которого тогда ценили в качестве политкаторжанина. Потом музей прикрыли, окрестные жители просили поменять его на клуб<sup>1</sup>. Наступили десятилетия изгнания из литературы

«архискверного» сочинителя. В позднейшие времена, когда Достоевского «вернули», дом отремонтировали, обрубив все «архитектурные излишества». Установка в 1993 году замечательного памятника работы скульптора Ю. Ф. Иванова мало что изменила, разве что проложили асфальтовую дорогу в Даровое (Моногарово и Черемошня, также связанные с Достоевскими, до сих пор отрезаны от цивилизации). Отдельные усилия реставраторов, составивших проект охранной зоны<sup>2</sup>, а ещё раньше проект восстановления моногаровской церкви, кончились ничем, значительная часть проектной документации была утрачена.

Два года назад в Даровом собралась конференция достоевсковедов, которой предшествовала летняя экспедиция в усадьбу студентов и преподавателей Коломенского государственного педагогического института<sup>3</sup>. Обсуждалась сложившаяся ситуация и возможный план действий. Надежда была возложена на Коломенский пединститут и на музей «Зарайский Кремль», чьим филиалом является Даровое. Пришли новые люди с новыми силами и новыми идеями. Так, заведовать филиалом взялся достаточно успешный предприниматель Эдуард Елисеев, увлечённый Достоевским. На следующий год была организована вторая экспедиция, а нынешним летом – третья, поддержанная грантом РГНФ. Она-то и оказалась наиболее результативной.

### *Новости из-под земли*

Пока коломенские студенты-филологи осваивали фольклор, язык, топонимику Дарового и окрестностей, т.е. выявляли остатки народно-культурной среды, питавшей юного Достоевского, шло параллельное обследование архивов. Благо источниковедческий фундамент в прошедшие годы был заложен В. С. Нечаевой, Г. А. Фёдоровым, К. А. Барштом, А. С. Подъяпольским<sup>4</sup>. Собрав имеющиеся в

архивах межевые планы усадьбы времён Достоевских<sup>5</sup>, мы, однако, не нашли того, что искали – месторасположения барских построек.

Были ещё свидетельства старожилов: здесь стоял дом, здесь скотный двор, здесь колодец, здесь ещё флигель... В своё время по изустным описаниям, собранным стараниями замечательного местного краеведа В. И. Полянчева, был сделан макет, который теперь показывают в зале заседаний Администрации Зарайского района как макет усадьбы Достоевских. Всё бы хорошо, но старожилы второй половины XX века, естественно, запомнили расположение построек самое раннее на конец XIX века, т.е. на самом деле мы имеем макет усадьбы Ивановых (Вера Михайловна Достоевская, в замужестве Иванова, в 1852 году выкупила родовое имение у остальных наследников).

Подоспело и новое доказательство – мы прочитали, наконец, часть дневника Андрея Михайловича Достоевского (в силу ужасного почерка долго остававшегося нечитательным). Описывая свою поездку в Даровое летом 1887 года, он сокрушённо заметил: «Общая физиономия всей местности, т.е. построек, совершенно изменилась в 50 лет, в которые я не был в Даровом»<sup>6</sup>. Из писем сестры Веры к Андрею видно, что радикальным перестройкам усадьба была подвергнута в 1885 году<sup>7</sup>. Для реконструкции ранней усадьбы имеется единственный письменный источник – опубликованные воспоминания Андрея Михайловича<sup>8</sup>. Архитектор по профессии, он к тому же был человеком на редкость педантичным. Мы благодарны ему за бесценное описание усадьбы времён его детства. Однако словесное описание – ещё не план, привязанный к местности.

Оставалось прибегнуть к методам археологической разведки, опыт подобного рода уже имеется, хотя и небольшой (яркий пример – реконструкция болдинской усадьбы Пушкина). Нынешним летом в ходе экспедиции коломенские студенты-историки во главе с археологом, кандидатом исторических наук А. С. Сыроватко сделали в Даровом два раскопа. Первый, рядом с

существующим флигелем, открыл фундамент «людской» избы, непосредственно примыкавшей к господскому дому и, очевидно, построенной вместе с ним после пожара 1832 года. Здесь же были обнаружены следы более старого, XVIII века, строения, принадлежавшего, вероятно, ещё прежним хозяевам Дарового Хотяинцевым.

Второй раскоп был сделан на месте предполагаемого самого раннего жилища Достоевских – так называемой «мазанки» (скорее всего, это был бревенчатый дом, снаружи обмазанный глиной, такого типа старые дома ещё сохранились в той местности). Однако вместо ожидаемого «талисмана» усадьбы Достоевских 1830-х годов («мазанка» единственная спаслась от упомянутого пожара) мы открыли фундамент жилой постройки второй половины XIX века. В культурном слое археологи откопали вещи, соответствующие возрасту и принадлежности открытых фундаментов.

Предстоит тщательное изучение находок с целью их датировки. Пока мы только предположительно можем говорить о принадлежности некоторых из вещей семье Достоевских: это нательный крест старинной квадрифолийной формы, нательная иконка, ажурный медный подвес, скорее всего для лампадки, белоглиняная лошадка, расписанная коричневой и жёлтой краской, белоглиняный горшочек, изнутри покрытый зелёной глазурью, мебельная фурнитура, вилка с деревянной ручкой, фрагменты зелёного штофа (с клеймом 1804 г.) и фарфоровой посуды, половинка очков овальной формы...

В поисках ускользнувшей «мазанки» археологи применили новейший способ сканирования местности георадаром, сложным прибором, «видящим» глубоко под землёй (геофизическая разведка была проведена под руководством кандидата геолого-минералогических наук, доцента геофака МГУ А. А. Ключко). Теперь только мы поняли нашу ошибку: «мазанку» следовало копать ближе к двум курганам.

На каждом из этих курганов при Достоевских, как описывает Андрей

Михайлович, росло по четыре вековые липы, образующие живописные беседки, где хозяева пили чай, вели семейные разговоры... Георадар смог заехать только на один из курганов и выдал потрясшую нас информацию: под насыпью располагается могильник предположительно XII века. Получается, что Достоевские пили чай ... на могиле предков, не догадываясь об этом? Но ведь писал же не раз Фёдор Михайлович, что человек ощущает гораздо больше, чем знает.

### *Храм и Роща*

Нет худа без добра: заброшенность Дарового помогла сохранить самую большую ценность этих мест – «достоевский» ландшафт. Пересечённая оврагами местность с мелколиственными перелесками, роща могучих лип. «Вековых», по свидетельству брата Андрея, ныне подтверждённому дендрологами: возраст 321 дерева из 407 значительно превышает два века<sup>9</sup>. Лес подходил к самой «мазанке» с восточной стороны, а с западной стояли те самые великолепные восемь лип на курганах, так что юный Федя Достоевский летом 1832 года (или, что не исключено, еще 1831 г., сразу после покупки имения) попал с городской мостовой напрямик в лесное царство. Очевидно, этот «фактор красоты» и повлиял на отцовский выбор при покупке имения. Лес стал гордостью Достоевских. В мае 1835 г. Мария Федоровна (мать будущего писателя) писала мужу: «Еробкины [соседи – В.В.] были у меня в воскресенье, ему очень понравился наш лес да и подлинно лес хоть куда прекрасной»<sup>10</sup>. В дневнике Андрея Михайловича 1887 г. читаем: «Не изменилась только Липовая роща. Эта роща положительно краса всего имения!»<sup>11</sup>

Липовая роща – природная жемчужина, имеющая к тому же мемориальное значение: 321 живое существо напрямую соединяет нас с «той» жизнью. Поэтому одной из главных задач экспедиции было натурное обследование рощи и начало работ по её расчистке, санитарной рубке и частичной реконструкции. Два месяца работы студентов, направляемых специалистами из Центра традиционной русской культуры

«Преображенское», действительно преобразили запущенную рощу: она «задышала», старые деревья получили больше воздуха, солнца и открылись взорам.

По свидетельству жены писателя, он мечтал привести в рощу своих детей и показать свои самые заветные места<sup>12</sup>. Эти деревья и сегодня – лучшие из экспонатов Музея Жизни. Прогулка по Липовой роще даёт живительный импульс людям, эмоционально и духовно стремящимся к общению с «землёй Достоевского».

Соседняя Фекина роща, увы, была вырублена, на месте прежних берёз выросли осины и липы, лишь только по краям остались одиночные берёзки. Однако в первоначальном виде сохранился овраг, привлекавший впечатлительного мальчика своими тайнами – излюбленное место его уединённых созерцаний. Необходима реконструкция Фекиной рощи, т.е. возвращение берёзняка – и со временем это место может быть одним из самых привлекательных для посетителей, желающих почувствовать, что такое «природа по Достоевскому».

Важный энергетический узел сохранившегося ландшафта – стоящий (с 1763 г.) на пригорке храм Сошествия Святого Духа в соседнем селе Моногарове, в километре от Дарового. Приходская церковь, исправно посещавшаяся семьёй Достоевских, имеет, как и Липовая роща, громадное эстетическое и мемориальное значение. В ходе экспедиции коломенские студенты освобождали храм от бывшего здесь когда-то склада, разбивали спекшуюся цементную гору, расчищали окружающую территорию. Зданию нужна срочная консервация (хотя бы временная кровля), а затем и реставрация. Храм Достоевских пока ещё можно спасти.

### *«Да кто его отец?»*

27 августа рядом с церковью Сошествия Святого Духа стараниями участников экспедиции был установлен поклонный крест и гранитная плита с надписью: «На этом погосте покоится Михаил Андреевич Достоевский (1789 – 1839), врач, отец Ф. М.

Достоевского». Это событие можно назвать историческим, имея в виду разросшуюся «проблему отца» в литературе о Достоевском. С двадцатых годов прошлого века спорят о причине смерти Михаила Андреевича. С одной стороны, есть официальное заключение специально наряженного следствия: смерть от апоплексического удара. С другой стороны – свидетельства современников: владелец Дарового и Черемошни был убит своими крестьянами. Неофициальную версию активно и каждый по-своему эксплуатировали психоаналитики и «вульгарные социологи». И те и другие в отце писателя увидели то, что хотели увидеть: патологическую жестокость, жадность, подозрительность... Вылитый Фёдор Павлович Карамазов! – таким его представил массовому читателю биограф писателя Леонид Гроссман. Против этой очевидной предвзятости в своё время горячо выступил историк и художник Георгий Федоров<sup>13</sup>. Защиту отца писателя он построил на показаниях двух самых важных свидетелей – братьев Андрея и Фёдора Достоевских. Вспыльчивость, несдержанность, даже придиричливость – ещё не жестокость, к тому ж за «угрюмством» следовало распознать «сокрытый двигатель» целостной личности М. А. Достоевского, военного медика двенадцатого года, многолетнего врача «для бедных», истового семьянина. «При полном реализме найти в человеке человека» – этот метод Ф. М. Достоевского пора применить и к его собственному отцу. Будем справедливы: он вывел своих детей в «лучшие люди» России.

20 – 21 июля 1877 года, начиная работу над «Братьями Карамазовыми», романист посетил места своего детства. У этого сентиментального путешествия, как можно было предположить, имелась ещё одна глубоко интимная цель, о которой умолчал и он сам, и впоследствии, в своих мемуарах, его жена: он собрался наконец на могилу отца. Впрочем, теперь это уже не предположение, а документированный факт. В архиве моногаровской церкви, хранящемся в рукописном отделе Российской

государственной библиотеки, нам удалось разыскать запись настоятеля храма, отца Павла Проферансова от 20 июля 1877 года в графе доходов: «За панихиду от Достоевск<ого> 1 <рубль>»<sup>14</sup>. Как видим, Достоевский пришёл на могилу отца и отстоял панихиду в первый же день по приезде в Даровое...

Ровно через десять лет (день в день!) приедет в Даровое, прихватив сына, брат Андрей. В своём дневнике под датой 22 июля 1887 года, т.е. уже на третий день пребывания в имении он записал: «...мы втроем с Верой Михайлов<ной>, по заранее условленному предположению отправились пешком в село Моногарово. Пришед туда по очень знакомой мне дороге, мы вытребовали священника (свата Веры Мих<айловны>) [т.е. того же отца Павла, сын которого женился на дочери В. М. Ивановой Нине – В.В.], и отслужили панихиду сперва в церкви, а потом и на могиле отца. Отец похоронен в церковной ограде. На могиле его лежит камень без всякой надписи и могила огорожена деревянною решеткою, довольно ветхою. Нужно будет озаботиться возобновить ограду»<sup>15</sup>.

Участники летней экспедиции 2005 года решили: если мы пока не знаем точного места захоронения отца писателя, то хотя бы отметим исчезнувший погост, чтобы не оставался этот уголок земли глухим и немым, чтобы выполнить наконец волю сыновей Михаила Андреевича.

В наших планах – восстановить церковный погост в Моногарове, т.е. обозначить все могилы (среди них когда-нибудь, возможно, отыщется и могила отца), отметить захоронение Веры Михайловны и её дочерей на соседнем погосте.

#### *«Даровая Поляна»*

27 августа в Даровом и в Зарайске прошло выездное открытое заседание Совета Российского общества Ф. М. Достоевского, обсуждавшее итоги экспедиции. В. Туниманов, Д. Достоевский, С. Калашников, В. Захаров, Т. Касаткина, И. Волгин, П. Фокин, Б. Тихомиров, Н. Богданов, У. Брумфилд (США) сошлись в одном: эти

итоги подвигают нас к формированию полноценного музея-заповедника. Профессор из Японии К. Итокава, только что побывавший в Ясной Поляне, высказал мысль о соразмерности этих двух мест для русской культуры и даже назвал имение Достоевских Даровой Поляной<sup>16</sup>.

«Территорию детства» Достоевского следует реконструировать, в этом ни у кого нет сомнения. Вопрос только, как это сделать. Можно пойти по найденному пути и на месте найденных археологами фундаментов воздвигнуть типологические новоделы, заверяя потом экскурсантов, что так и было. Сторонники подобного решения утверждают, что большинству посетителей нужна вещественная очевидность. Может, и так, но ведь возможен и другой путь, заставляющий работать воображение и предлагающий посетителю самому «выстроить» усадьбу.

Главная ценность Дарового – сохранившийся, к нашему счастью, ландшафт. Тот самый, что отформовал гения. К. Д. Ушинский уверял, что «прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога»<sup>17</sup>.

Музей-заповедник, каким он видится в не очень далёкой перспективе 200-летнего юбилея Достоевского (2021 год), – это древние курганы, мемориальная Липовая и реконструированная Федина роща, матушкин пруд с золотистыми карасями, памятный по «Мужику Марею» Лоск, овраги, колосающееся поле и за ним древний погост с деревянной часовней. Это дорога на Черемошню, радостная (по ней скакали детские «тройки») и трагическая, с поклонным крестом на месте смерти отца. Это сама Черемошняя, укрывшаяся в глуши деревенька, чьё имя известно всем читателям «Братьев Карамазовых». Это Моногарово с возрождённой церковью Сошествия Святого Духа и домом причта, где бывал Достоевский. Это восстановленные погосты, родовые могилы.

К сожалению, недостает ясности в ближайшей судьбе Дарового. Нынешний его

статус филиала районного музея не адекватен его значению, а права двусмысленны при отсутствии юридически оформленной охранной зоны. Гарантий, что Рошу и Храм увидят наши дети, пока нет.

Впрочем, за время летней экспедиции мы не раз убеждались, что какие-то сдвиги в головах наших соотечественников всё же происходят. Взять тот же памятник отцу писателя. Когда мы пришли к руководителю коломенского предприятия «Контур» К. Ю. Львову, он без лишних слов, услышав имя Достоевского, взялся набрасывать проект. Точно так же – даром – помогали экспедиции решать технические, транспортные, бытовые проблемы луховицкий Центр технической диагностики «Диаскан» (директор Н. Н. Пекарников), Комитет по делам молодежи Администрации г. Коломны, частные предприниматели Э. Елисеев, С. Маркин. Откликнулись власти Зарайска. Складывалось впечатление, что Достоевский сам себя инвестирует.

Экспедиция Коломенского пединститута (активно поддерживаемая ректором А. Б. Мазуровым) продолжается. Её результативность измеряется не только объёмом проделанной работы или количеством археологических находок. В этих глухих пока местах затеплился очаг новой жизни – летний студенческий лагерь. К нему по-доброму относятся местные жители. Будущие педагоги охотно и увлечённо, с пониманием происходящего, работают в церкви, в роще, на раскопах...

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Протокол заседания Комиссии по изучению Достоевского Государственной академии художественных наук от 28 октября 1925 г. (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 6. № 42. Л. 2).

<sup>2</sup> См.: *Нуждина М. А.* Что реставрировать? // «Педагогика» Ф. М. Достоевского. Сб. ст. / Ред.-сост. В. А. Викторovich. Коломна: КГПИ, 2003. С. 210 – 215.

<sup>3</sup> См.: *Яковлев А.* Вернуться в лето его детства // Литературная газета. 2003. 3 – 9 сентября.

<sup>4</sup> *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских (Письма М. А. и М. Ф. Достоевских). М.: Гос. соц.-эконом. издат., 1939. 157 с.; *Федоров Г. А.* Московский мир Достоевского. Из истории русской художественной культуры XX века. М.: «Языки славянской культуры», 2004. С. 130 – 193. Сведения

об архивных материалах по межеванию усадьбы были сообщены автору настоящей статьи К. А. Барштом, А. С. Подъяпольским, а также вдовой Г. А. Федорова Ираидой Георгиевной, за что выражаю им глубокую благодарность.

<sup>5</sup> РГАДА. Ф. 1345. Оп. 6. № 567 и 568 (планы Дарового 1838 и 1850 гг.), Ф. 1355. № 1814 (экономические примечания на сельцо Даровое) и др.

<sup>6</sup> Дневник А. М. Достоевского 1887 – 88 гг. // РО ИРЛИ. Ф. 56. № 3. Л. 7.

<sup>7</sup> «Я <...> перестроила или почти вновь выстроила себе домик и вышел недурен. И к счастью моему прошлый год гостил у меня Саша [сын, А. А. Иванов, инженер-путеец – В.В.], и он помог мне советом, покупкою материалов и присмотром за рабочими. Старый же наш еще отцовский дом был уже очень стар и очень-очень холоден, так что мы несколько лет чуть-чуть не замерзали по зимам» (РО ИРЛИ. Ф. 56. № 77. Л. 57 – 57 об., письмо В. М. Ивановой А. М. Достоевскому, дата получения 12 – 15 мая 1886 г.)

<sup>8</sup> *Достоевский А. М.* Воспоминания. СПб.: «Андреев и сыновья», 1992. С. 59.

<sup>9</sup> *Русакомский И. К., Дробнич О. А., Воронкина Л. А.* Натурное обследование территории усадьбы «Даровое». Ведомости инвентаризации насаждений с ведомостями первоочередных рубок. РБОО Центр традиционной русской культуры «Преображенское». 2005. 15 с. (приложение к отчету по гранту РГНФ 05 – 04 – 18037е).

<sup>10</sup> *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских (Письма М. А. и М. Ф. Достоевских). С. 92.

<sup>11</sup> Дневник А. М. Достоевского 1887 – 88 гг. Л. 7.

<sup>12</sup> *Достоевская А. Г.* Воспоминания. М.: «Художественная литература», 1971. С. 314.

<sup>13</sup> *Федоров Г.* Домыслы и логика фактов // Литературная газета. 1975. 18 июня; *он же.* «Помещик. Отца убили...» // Новый мир. 1988. № 10. Ср. в кн.: *Федоров Г. А.* Московский мир Достоевского. Из истории русской художественной культуры XX века. С. 146 – 193. Наше согласие с «реабилитацией» М. А. Достоевского не означает, впрочем, что мы разделяем версию Г. А. Федорова о вымышленности убийства: и хорошего человека могли убить.

<sup>14</sup> Тетрадь для записей доходов Свято-Духовской церкви села Моногарова Каширского округа за 1868 – 1877 гг. // РО РГБ. Ф. 365. Моногарово. П. 11. Л. 25 об.

<sup>15</sup> Дневник А. М. Достоевского 1887 – 88 гг. Л. 7 об.

<sup>16</sup> Свои впечатления от поездки в Даровое К. Итокава изложил в статье «На открытии памятника отцу Достоевского» в японской газете «Майнити» (2005. 29 сентября, вечерний выпуск). Работа экспедиции освещалась и в российских СМИ: «Ежедневные новости. Подмосковье». 10 августа, «Московский комсомолец». 16 августа, «Литературная газета». 12–18 октября, программа «Вести» РТР, РИА «Новости» (см. Интернет) и др.

<sup>17</sup> *Ушинский К. Д.* Избранные педагогические сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Гос. учеб.-пед. изд., 1953. С. 287.

## КАКИМ БЫТЬ МУЗЕЮ В ДАРОВОМ

Вряд ли где-нибудь найдутся такие два музея, которые были бы органически и исторически связаны между собой, как Музей Ф. М. Достоевского в Москве и Музей-усадьба Ф. М. Достоевского в д. Даровое Зарайского района Московской области. Связывает их не только имя великого писателя, но и тяжелая семейная драма, ставшая причиной переезда осиротевшей и разделившейся после смерти М. Ф. Достоевской семьи из Москвы на постоянное жительство в имение Даровое в 1837 году. Через два года – летом 1839 года – дети остаются без отца, и над имением устанавливается опека. В 1852 году его выкупает сестра писателя Вера Михайловна Иванова, а после нее в 1896 году дом переходит к ее дочери – М. А. Ивановой. После смерти последней в 1926 году дом оказывается в распоряжении колхоза. Впоследствии его используют как библиотеку. В настоящее время усадьба является филиалом музея «Зарайский кремль».

Настало время воссоздать исторический облик усадьбы, включая не только ее ландшафтные особенности, но и внешний и внутренний облик жилых строений, которые занимала семья Достоевских во время летнего пребывания. Для решения этой непростой задачи чрезвычайно важно сформировать правильный научный подход, учитывающий то обстоятельство, что имение несколько раз меняло своих владельцев, каждый из которых привнес что-то свое, а что-то изменил или убрал. К счастью, от семейства Хмыровых (потомков В. М. Ивановой) сохранились архивные фотоматериалы, которые могут служить весомым аргументом для обоснования научной версии первоначального облика усадьбы. Но без глубокой ретроспективы событий, позволяющих заглянуть в далекое прошлое, нам не обойтись. И тут неоценимую помощь нам окажет

книга брата писателя А. М. Достоевского «Воспоминания». Она является главным и наиболее непогрешимым свидетельством жизни семьи, начинавшейся в московской квартире на Божедомке, и после печально известных событий переместившейся в усадьбу Даровое. Благодаря этой книге, подробному описанию обстановки дома Достоевских стало возможно представить его атмосферу и лучше понять условия, в которых рос и формировался будущий писатель. Нам кажется правомерным надеяться, что и в наших поисках Андрей Михайлович укажет нам правильное направление. И хотя очень многие знакомы с этой книгой, постараемся высветить в ней именно те факты, которые интересуют нас в первую очередь как документальные свидетельства жизни усадьбы, ее взлетов и падений, переломных моментов ее истории, судеб ее обитателей, наконец, ее исторического облика.

Итак, в начале 20-х годов позапрошлого столетия молодая семья Достоевских с сыновьями Михаилом (1820 г. р.) и Федором (1821 г. р.) заняла казенную квартиру в левом флигеле Московской Мариинской больницы для бедных на Божедомке, где служил лекарем отец семейства – Михаил Андреевич. Здесь появляются на свет Варвара (1822 г. р.), Андрей (1825 г. р.), Вера (1829 г. р.) и Николай (1831 г. р.). За 15 лет службы М. А. Достоевский получает звание потомственного русского дворянина и намеревается приобрести имение, дабы создать надежные экономические гарантии для благополучного будущего подрастающих детей. Летом 1831 года он приводит свое намерение в исполнение: покупает небольшое имение в 150 километрах от Москвы и недалеко от города Зарайска. Через год прикупает и соседнюю деревню Чермашню и становится владельцем 100 душ мужского пола и свыше 500 десятин земли в придачу.

Начиная с весны 1832 года Мария Федоровна Достоевская с детьми уезжает в Даровое на все лето и остается там до поздней осени. На хрупкие плечи 30-летней женщины ложится нелегкая ноша: подготовка семян к севу, посевные работы, сбор урожая, закладка его на зиму, обеспечение кормами скота, благоустройство имения, забота о насущных нуждах крестьян, разрешение всевозможных неурядиц. И это далеко не все. Но зато для детей по приезду в деревню наступает райская жизнь. Милым деревенским раем представляется усадьба и по описанию Андрея Михайловича Достоевского, который с присущей ему, как гражданскому инженеру, тщательностью, весьма подробно рассказал не только об архитектурных, но и ландшафтных ее составляющих, не забывая указать и на изменения, случившиеся в ней вследствие как хозяйственной необходимости (когда нужно было выкопать пруд), так и вследствие непредвиденных катаклизмов (восстановление усадьбы после пожара). Вот как описывает он усадьбу в своей книге. «Местность в нашей деревне была очень приятная и живописная. Маленький плетневый, связанный глиною на манер южных построек, флигелек для нашего приезда состоял из трех небольших комнаток и был расположен в липовой роще, довольно большой и тенистой. Роща эта через небольшое поле примыкала к березовому леску, очень густому и с довольно мрачною и дикою местностью, изрытою оврагами. Лесок этот назывался Брыково. С другой стороны помянутого поля был расположен большой фруктовый сад десятинах на пяти. Вход в этот сад был тоже из липовой рощи. Сад был кругом огорожен глубоким рвом, по насыпям которого густо были посажены кусты крыжовника. Задняя часть этого сада примыкала тоже к березовому лесочку Брыково. Эти три местности: липовая роща, сад и Брыково были самым ближайшими местами к нашему домику, а потому и составляли место нашего постоянного пребывания и гулянья. Около помянутого выше нашего домика, который был крыт соломою, были расположены два кургана

или две небольшие насыпи, на которых росло по четыре столетних липы, так что курганы эти, защищенные каждый четырьмя вековыми липами, были лучше всяких беседок и служили нам во все лето столовыми, где мы постоянно обедали и пили утренний и вечерний чай. Лесок Брыково с самого начала очень полюбился брату Феде, так что впоследствии в семействе нашем он назывался Фединой рощею... Позади фруктового сада и лесочка Брыково находилась громадная ложбина, простирающаяся вдаль на несколько верст. Эта ложбина представляла собою как будто ложе бывшей когда-то здесь реки. В ложбине этой находились и ключи. Это обстоятельство подало повод вырыть в этой ложбине пруд, которого в деревне не имелось. В первое же лето маменька распорядилась вырыть довольно большого пруда и запрудить его близ проезжей усадебной улицы... ..Крестьяне были очень довольны этим, потому что прежний затруднительный водопой скота очень этим упростился. ...В последующие годы в пруду этом была устроена купальня, и мы летом ежедневно по три, по четыре раза купались. Одним словом, летние пребывания наши в деревне были очень гигиеничны для нас, детей; мы, как дети природы, жили все время на воздухе и в воде».

Не правда ли, более подробного и образного описания облика усадьбы и атмосферы, в которой жили дети, трудно и представить. Надо заметить, что вообще русские дворянские усадьбы окружал ореол душевного и физического благоденствия, устойчивого быта и безопасности в самом широком смысле слова. Эти преимущества на фоне городской жизни выделялись, конечно, в розовом свете. Это одна из главных причин, почему дворянство видело в усадьбе надежное убежище от всевозможных превратностей жизни в городе. Семья Достоевских не стала исключением. И эта особенность усадебной жизни очень важна для нас, если говорить о реконструкции ее облика не только по букве, т.е. в точном соответствии с описанием, но и по духу.

Итак, запомним, что в первое лето своего

пребывания в Даровом – лето 1832 года – Мария Федоровна Достоевская дополнила образ усадьбы (в силу хозяйственной необходимости) прекрасным прудом, в который к тому же были выпущены живые маленькие карасики, ставшие поводом к увлечению детей рыбной ловлей. Пруд этот сохранился и доныне и служит живописным украшением панорамы Дарового.

Поводом для нового видоизменения усадьбы послужил пожар, случившийся на Страстной неделе Великого поста в 1833 году. «...Пожар случился от того, что один крестьянин, Архип, вздумал в Страстную пятницу палить кабана у себя на дворе. Ветер был страшный. Загорелся его дом, а от него сгорела и вся усадьба. В довершение несчастья сгорел и сам виновник беды, Архип, который побежал в горевшую избу, что-то спасать и там и остался!» Сгорела не только деревня. «Несколько вековых лип около сгоревшего скотного двора тоже обгорели». Достоевские выдали каждому хозяину на новую усадьбу по 50 рублей, свой скотный двор тоже поставили новый и при нем людскую избу и небольшой усадебный дом. (Плетневая мазанка, защищенная вековыми липами, уцелела). В новом доме и родилась в июле 1835 года третья девочка в семье – Сашенька.

Ко всему, сказанному выше, остается добавить, что экипажных сараев, по свидетельству Андрея Михайловича, в усадьбе устроено не было. Дорожная коляска приехавших из Москвы летом 1835 года Александры Федоровны Куманиной и Ольги Яковлевны Начаевой стояла все время, дней пять, в липовой роще, и 10-и летний Андрюша с большим удовольствием откидывал ступеньки высокой коляски, по нескольку раз в день, влезал в нее и опять вылезал. Всего несколько лет приезжали дети на лето в свою любимую деревню – в 1832, 1833, 1834, 1835, 1836 и 1838 годах. Непосильные труды подорвали здоровье Марии Федоровны Достоевской. Деревенское лето 1836 года стало для нее последним. Силы ее падали очень быстро, и 27 февраля 1837 года, благословив детей и неутешного мужа, она отошла в мир иной.

Смерть любимой жены стала сильнее ударом для Михаила Андреевича. В одно мгновение были разрушены жизнь, быт и порядок, в организацию которого было вложено столько лет жизни, столько сил и надежд. Нужно было большое самообладание, чтобы в изменившихся обстоятельствах принять правильное решение.

Первое, что делает отец, – отправляет старших сыновей – Михаила и Федора – на учебу в Петербург. Сына Андрея отдает на полный пансион в учебное заведение Л. И. Чермака. Одновременно принимает решение об отставке с намерением поселиться с младшими детьми в Даровом. Отставка была получена, и в августе 1837 года, погрузив все нажитое за годы московской жизни имущество на пришедшие из деревни подводы, Михаил Андреевич с детьми: Варенькой, Верочкой, Николенькой, младшей Сашенькой и бессменной няней Аленой Фроловной – отправляется в свое имение.

На этом заканчивается первая глава истории усадьбы Даровое и начинается глава вторая. Этот переломный момент в жизни семьи Достоевских как бы ставит точку на том историческом отрезке времени, который был неразрывно связан с пребыванием там юного Федора Достоевского, и обуславливает ряд вопросов, на которые теперь никто не может дать исчерпывающих ответов. Например, мы не знаем, какова была планировка вновь отстроенного в 1833 году дома, какой мебелью он был обставлен, с какой стороны был парадный вход и был ли он там вообще в весьма скромных условиях и потребностях того времени. Поэт Афанасий Афанасьевич Фет в своей книге «Воспоминания» описывает тип помещичьей деревенской постройки, где хозяева проживали не постоянно, а от случая к случаю: «Сквозные сени отделяют чистую избу с голландской печью и перегородкою от черной избы с русской пекарной печью». У Достоевских не было сеней в деревенском доме, но, по свидетельству старожилов, была изразцовая печь.

Пекарная печь, судя по всему, была в

пристроенной к дому людской. Причем, в людской были устроены два входа: один – со стороны липовой рощи, расположенный вплотную к господской части дома, другой – со стороны скотного двора. Однако есть и третий вход, который сегодня мы можем видеть со стороны улицы. Но был ли он у Достоевских? Мы убеждены, что не был. Не мог быть – по канонам деревенской избы.

Что касается интерьера, то полная неопределенность представлений о нем – с момента возвращения в Даровое М. А. Достоевского – сменяется абсолютной ясностью и достоверностью картины в отношении мебели. И здесь нет никакого чуда. Несколько выше мы упоминали о том, что, оставив московскую казенную квартиру, Михаил Андреевич погрузил на подводы все свое имущество, а точнее – посуду, одежду, ценности, о которых будет сказано в свое время, и, конечно, мебель. Приводим подробный перечень обстановки, стоявшей в московском доме и вывезенной в 1837 году в деревню. По словам самого автора «Воспоминаний», она была очень скромная: два ломберных стола, обеденный стол, дюжины полторы стульев березового дерева под светлую политуру и с мягкими подушками из зеленого сафьяна, набитыми чистым волосом (пружин тогда еще не знали), стоявшие когда-то в зале; диван, несколько кресел, туалет Марии Федоровны (туалетный столик), шифоньер и книжный шкаф – из гостиной; кровати родителей, рукомойник и два громадных сундука с гардеробом покойной М. Ф. Достоевской – из родительской спальни, и, наконец, 2 сундука - из детской. Все эти вещи и были привезены в деревню. И нам кажется возможным с большей или меньшей вероятностью мысленно расставить их в деревенском усадебном доме, сохраняя целесообразность их размещения в условиях известного нам помещения.

Таковы составляющие интерьера, в котором Михаил Андреевич с семейством провел два последние года своей жизни.

Как уже упоминалось, смерть жены стала для него сильным потрясением – настолько сильным, что он морально сломался, стал

пить. Характер его и без того непростой, совсем испортился. Подозрительность усугубляла дело и часто приводила к необоснованным расправам с крестьянами. 6 июня 1839 года помещик М. А. Достоевский был найден мертвым на опушке Черемошненской рощи. Позже станут известны и подробности происшедшей катастрофы, но официальная версия – смерть от апоплексического удара – если кому-то и не внушала доверия, то, по крайней мере, ставила точку в этом темном деле. И здесь заканчивается очередная глава из истории усадьбы, и начинается новый виток ее развития.

Несколько месяцев судьба имения была неопределенной. 1 сентября 1839 года Михаил Михайлович Достоевский пишет из Ревеля сестре Варе, которой было тогда 17 лет: «... у нас, я думаю, ужаснейший беспорядок; староста не знает, к кому относиться в делах своих, все запечатано; Григорий писал ко мне, что ему даже не позволили выколотить папенькины шубы, и он боится, чтоб в них не завелась моль. ... притом же, кто будет опекуном нашим? Чужой! Что ему за дело до нас?! Боюсь, сестра, боюсь, чтоб крохи, собранные покойником, не разлетелись вместе с его кончиной».

Михаил Михайлович обращается к дяде Александру Алексеевичу Куманину с просьбой принять на себя обязанности опекуна, которая была отклонена. Опекуном был назначен некто Николай Павлович Елагин, при котором имущество Достоевских и хозяйственный инвентарь сильно пострадали. С выходом Варвары Михайловны замуж опекуном имения Даровое стал ее муж П. А. Карепин, а соопекуном был назначен Михаил Михайлович сразу после производства его в офицеры. В 1841 году, проживая в Ревеле и будучи произведен в прапорщики, он сделал предложение Э. Ф. Дитмар. Все было готово к венцу, но не было денег для первоначального обзаведения молодой семьи. А потому, не получив помощи от дяди А. А. Куманина, М. М. Достоевский отправился в имение, чтобы забрать все

имущество, оставшееся после смерти отца. Как пишет Андрей Михайлович, соопекун П. А. Карепин не только не возражал против этого, но и обещал жениху ссудить «несколько денег в счет доходов с имения». Вещи Михаил Михайлович переслал в Ревель, шубы отцовские продал в Москве, а фарфор и серебро поделил с братом Федором поровну. Из чего можно заключить, что предположение о принадлежности найденных при раскопках 2005 года осколков к посуде из сервиза Достоевских, к сожалению, не имеет под собой достаточных оснований. Скорее всего, у этой посуды были другие хозяева. Кто именно? Ответ на этот вопрос кроется не так уж глубоко.

В этой связи бесполезно заметить, что позже опекуном был назначен А. П. Иванов – муж сестры писателя Веры Михайловны.

Кстати, осенью 1851 года Варвара Михайловна Достоевская-Карепина пишет Андрею Михайловичу Достоевскому письмо, в котором сообщает о том, что брат Михаил два лета сряду (1850–1851) прожил в деревне и что он предлагает имение отца оставить за собою, «оплатив братьям и сестрам деньгами за причитающиеся им части, но не сразу, а в продолжение 10 лет»; здесь же она пишет, что по ее мнению, это не слишком выгодно для остальных наследников. Тем дело и закончилось. Но сам факт пребывания старшего брата писателя в Даровом в 1850 – 1851 гг., тем не менее, имеет для исследователей серьезное значение. Мы знаем из «Воспоминаний», что во время летних каникул 12-летний Миша Достоевский увлекался красками и раскрашивал братьев и деревенских ребятшек индейцами для игры «в диких». Это увлечение не оставило его и в более позднем возрасте. Вот и на отдыхе в Даровом он написал два пейзажа, которые не только передают атмосферу «райского уголка», но и служат наглядным свидетельством образа Дарового того времени. Ясно, что эти работы найдут свое место в будущей экспозиции.

В июле 1852 года, по достижении младшей сестрой Александрой 17 лет, опека над имением была снята, и по завершении определенных формальностей оно должно

было подвергнуться разделу и продаже. Покупателя искать не пришлось: им стала Вера Михайловна.

Вера Михайловна Иванова – в девичестве Достоевская – и муж ее, статский советник, доктор Александр Павлович Иванов, прекрасный и известный на всю Москву человек, смогли создать большую дружную семью. Всего у Ивановых родилось тринадцать человек детей, но три дочери умерли в младенчестве, а младшая, Наталья, родилась в 1867 году, за год до внезапной трагической кончины главы семейства. Удивительно, какие необычайные совпадения происходят подчас в судьбах одного и того же рода. Александр Павлович так же, как и Михаил Андреевич Достоевский, был доктором. Так же, как и последний, жил с многочисленным семейством в казенной квартире (при Константиновском межевом институте). Так же, как и Михаил Андреевич, стремился обеспечить будущее своих детей и ... покупает принадлежавшее тому имение. Все складывается самым удачным образом. Но он еще не знает, что через 16 лет в возрасте чуть старше своего несчастного тестя ему так же внезапно суждено уйти из жизни, оставив десять человек детей сиротами. (Делая операцию студенту института по удалению злокачественной опухоли, он занес себе нечаянно вирус этой опухоли и через десять дней в возрасте 52–53 лет скончался).

А пока приобретение Дарового становится счастливейшим событием для Ивановых. Теперь каждое лето усадьба будет принимать под свой кров не только молодое поколение Ивановых, но и их многочисленных друзей; жизнь здесь забьет ключом, кроны вековых деревьев наполнятся звоном юных голосов, смехом, весельем, пирами. Возможно ли при этом, чтобы обстановка и имущество предыдущих хозяев дома остались нетронутыми? Возможно ли, чтобы они не подверглись новым передвижениям и встряскам? Возможно ли было самому дому сохранить прежний облик? Архивные фотоматериалы свидетельствуют об обратном: усадьба менялась – но не вдруг. Естественный процесс ее развития

обусловил создание новых хозяйственных построек и перестроек. За 42 года пребывания здесь семейства Веры Михайловны много воды утекло, и все-таки у нас есть возможность остановить некоторые из прекрасных мгновений той счастливой поры Дарового и увидеть на фотографиях конца 19 – начала 20 века образы людей, творивших летопись усадьбы.

Итак, на одной из фотографий мы видим женскую группу из 6 человек: крайняя справа весьма похожа на хозяйку Дарового – Веру Михайловну Иванову. Если сопоставить ее с известной фотографией уже в более позднем возрасте, то здесь ей где-то под шестьдесят лет (1829 – 1896 гг.). Она улыбается и, несмотря на нарядное белое платье, держит на руках поросеночка. Далее – по порядку справа налево сидят две женщины в крестьянской одежде, одна молодая, другая намного старше (судя по всему, горничные), следующая молодая женщина сильно напоминает дочь Веры Михайловны – Марию Александровну и рядом две немолодые дамы в господских платьях. При сравнении их с акварелью, сделанной с юной Варвары Михайловны и фотографией молодой Александры Михайловны, напрашивается их явное сходство. Группа сидит на стульях перед завалинкой дома, напоминающего обычный крестьянский сруб, если бы не особая закругленная форма оконной рамы в верхней ее части. Справа видна часть пристроенной людской, а точнее коробка двери, примыкающая к основной части дома. Очевидно, что это тот самый дом Достоевских, построенный летом 1833 года после пожара. Напомним, что в нем в 1835 году родилась Сашенька, в 1837 году сюда вернулся овдовевший М.А. Достоевский, а в ночь с 17 на 18 июля 1877 года здесь ночевал Ф. М. Достоевский, приехавший повидать места своего детства. Видна часть крыши – соломенной, с прибитыми жердями, поверх которых спускается нечто вроде провалившейся между ними порослей или моха. В отличие от неравномерного расположения окон на стороне дома, прилегающей к роще, которое мы можем

видеть в современном виде, на старом снимке окна равно удалены друг от друга. Таким был дом в середине 80-х годов 19 века, если за отправную точку взять возраст дамы в белом, допустив, что это Вера Михайловна Иванова. На другой фотографии мы видим еще одну дочь Веры Михайловны – Софью Александровну Хмырову (в девичестве Иванову). Она сидит на ступеньке лестницы открытой веранды на противоположенном от насыпных курганов торце дома. Софье Александровне здесь явно больше сорока, следовательно, этот снимок сделан примерно в 90-е годы 19 века (С. А. Хмырова умерла в 1907 году). Веранда стоит на простых столбах. Фасадная и торцовая стороны обиты горизонтально досками примерно до метровой высоты.

В 1887 году в Даровое придет Андрей Михайлович Достоевский. Он посетит Моногаровский храм, где закажет панихиду по отцу, постоит у его могилы с камнем без всякой надписи и довольно ветхой деревянной оградой, а уезжая, возьмет на память об отце его старую бритвенницу.

Еще три старинных фотографии свидетельствуют о совершенно ином – по расположению крыльца и скромному деревянному украшению – виде веранды. Красиво обшит тесом господский дом, и окна несколько иной формы, с лаконично обозначенными резьбой наличниками. Многочисленное молодое потомство Ивановых вдохнуло новый ритм и новые краски в жизнь усадьбы. Им не введома ностальгия по минувшим временам. Для них все в настоящем. Для них повторяется иллюзия рая, которая в свое время в одночасье остановила счастливое, полное радужных надежд течение жизни в осиротевшем семействе Достоевских.

Чтобы представить себе образ жизни молодых людей в Даровом, наполненной красотами живописных окрестностей и радостями бытия, обратимся к воспоминаниям 1866 года их современника Н. Фон-Фохта. «В конце июля месяца я уехал со старшим сыном А. П. Иванова (гимназистом 7 класса) в их деревню, находившуюся в Зарайском уезде Рязанской

губернии. Село Даровое, так называлось родовое имение Достоевских. Прощаясь с нами, Федор Михайлович поручил нам вести дневник, в который записывать все, что будет происходить в деревне во время нашего там пребывания. Еще немного ранее уехали в ту же деревню Вера Михайловна с двумя дочерьми, так что в Даровом собралось нас небольшое общество, и мы весьма приятно проводили время, несмотря на большую глушь, куда мы заехали. ...Выйдя на станции Луховицы Московско-Рязанской железной дороги, мы уже далее продолжали путь на лошадях и к вечеру прибыли в Зарайск. Здесь пришлось переночевать. От нечего делать мы осмотрели город, который, как и все русские уездные города, не представлял ничего достопримечательного, за исключением разве старинной толстой стены, представлявшей остатки прежнего кремля. ...На другой день мы уже были в деревне, где нас гостеприимно принял в свои стены небольшой старинный господский дом.

Несмотря на то, что кругом свирепствовала холера, в особенности в Коломне, в ста верстах от нас, мы чуть ли не с раннего утра принимались за уничтожение превосходных яблок и груш, коими изобиловал фруктовый сад при господском доме. Другим лакомым блюдом были грибы: мы их уничтожали с неменьшим усердием. ...Грибы составляли до такой степени характерную особенность нашего стола, что мы у себя в дневнике вели рубрику «грибных» и «негрибных» дней.

В середине августа мы возвратились в Люблино и еще застали здесь Ф. М. Достоевского. Он прежде всего потребовал от нас дневник и торжественно прочитал его при всех. Некоторые места нашего юношеского произведения вызывали у него смех, и, в общем, он остался доволен и похвалил нас».

Иллюстрациями к только что прочитанному рассказу могут служить несколько фотографий, на которых запечатлены эпизоды летнего пребывания обитателей усадьбы Даровое: это и групповая фотография на фоне открытого

сарая, служившего сеновалом, это и большое застолье юношей и девушек, расположившихся на открытом воздухе под кронами деревьев; им весело, они оживленно общаются, смеются и, между прочим, кушают; а вот несколько молодых людей присели на оглобли распряженной телеги, в самой телеге сидит крестьянин с бородой, а рядом с ним молодой человек в очках; слева, чуть поодаль, стоит знакомая нам по предыдущим фотографиям немолодая горничная. Кстати, не тот ли это сарай, угол фундамента которого открыли на раскопках 2005 года?..

Одна из фотографий особенно привлекла наше внимание. При компьютерной реконструкции открылась одна из тайн, которая долгое время не давала покоя исследователям. На снимке дом Достоевских, нарядно обшитый тесом и выкрашенный в светлый цвет, а справа мы видим небольшую насыпь, по углам которой видны вековые липы с нависшей над домом густой кроной, а еще чуть правее виден фрагмент низенького беленого домика: торец глухой, но в стене, обращенной к зрителю, почти у самой земли видно окошко, закрытое ставнями. Кровли того и другого строения покрыты железом. Очевидно, что перед нами та самая мазанка, но уже отштукатуренная и побеленная, где в летние каникулы жили Миша, Федя и Андрюша Достоевские. Невероятно, но мы видим перед собой уникальный фотодокумент, единственный в своем роде, который окончательно и бесповоротно подтверждает нашу гипотезу о ее местонахождении, основанную на абсолютно точном описании ее Андреем Михайловичем Достоевским. Поставлена еще одна точка в вопросе, который необходимо было решить в целях воссоздания исторического облика усадьбы.

Еще одна фотография, на которой видны хозяйственные постройки: две старые – на дальнем плане, новая, только что построенная с обрешеченной крышей – в центре, и часть строения слева. Старые постройки на заднем плане мы видели ранее на другой фотографии изображенными крупным планом в экспозиции усадьбы



Усадьба Даровое. Фотография из фондов Государственного литературного музея

Даровое с подписью «Дом в деревне Даровое». Еще тогда нас смущало одно обстоятельство: у дома не было окон, кроме маленького отверстия внизу, которое, обычно делается для кур. И рядом пристройка, похожая на свинарник. На нашей же фотографии эти постройки видны вдаль, но общую картину несколько проясняет присутствие в центре снимка молодой барыни средних лет – это одна из дочерей В. М. Ивановой. Она моет морду лошади струей воды, которую направляет из шланга стоящий левее человек в каске. Вода, возможно, привезена из пруда в бочке. Слева можно видеть край железной крыши. Этот край, по-видимому, – крыша людской. Тогда перед нами не что иное, как хозяйственный, а точнее, скотный двор усадьбы Достоевских в момент ее живой жизни: старые постройки, отслужившие свой век поросли бурьяном, а новая – только что возведенная и обрешеченная крыша сарая – или конюшни, или коровника – будет покрыта железом. Вид усадьбы приобретает законченность. Остается добавить, что старожилы указали на старый засыпанный колодец, очень глубокий – почти 20 метров, который находится неподалеку от жилых строений. Судя по всему, колодец был выкопан также уже при Ивановых и многие годы служил источником чистой питьевой воды.

В 2000 – 2002 гг., когда нам посчастливилось здесь работать, первоочередным делом стало создание экспозиции внутри усадебного дома. Но никаких материалов практически не было. В поисках решения этой непростой задачи пришлось перерыть все папки, касающиеся Дарового, но там, в основном были фотографии родственников, пейзажи окрестностей деревни – черно-белые и трудно узнаваемые. Когда понадобились консультации, мы обратились к ученым авторитетам, как Г. Б. Пономарева, Г. В. Коган и нашли в их лице мощную поддержку и опору. В поисках материальных свидетельств ушедшей эпохи стала ходить по деревне – по избам жителей Дарового, предки которых были крепостными Достоевских. Так познакомилась с Ниной

Терентьевной Ростовцевой, которая каждое лето приезжает в дом своего деда из Москвы, где живет постоянно. Обратила внимание на старинный сундук, буфет... И услышала удивительную историю. Оказывается, бабушка ее Марина Сергеевна (в девичестве Широкова) служила экономкой у племянницы Ф. М. Достоевского – Марии Александровны Ивановой. В усадьбе у нее родилась дочь Наталья Семеновна, которую барыня крестила. Позднее она подарила крестнице сундук в приданое к свадьбе. После смерти М. А. Ивановой, когда крестьяне стали разбирать вещи из усадебного дома, Наталья Семеновна (крестница) взяла уцелевшие вещи в дом, где они хранились до конца 20 века. Среди шестнадцати предметов обихода, переданных Ниной Терентьевной в музей «Зарайский кремль», наибольшее значение имеют 6 предметов мебели, которые могли принадлежать Достоевским и Ивановым, в частности: книжная этажерка, платяной шкаф (шифоньер), кухонный шкаф, ломберный столик, сундук кованный и стул. А теперь уместно еще раз вспомнить, какая мебель стояла в московской квартире Достоевских: в зале стояли два ломберных стола (между окнами), обеденный стол на середине и «дюжины полторы стульев березового дерева под светлую политурую и с мягкими подушками из зеленого сафьяна», стулья и кресла были с мягкими подушками (тогда пружин еще не знали), «подушки же у стульев, кресел и диванов набивались просто чистым волосом, отчего при долгом употреблении на мебели этой образовались впадины». В гостиной помещались диван, несколько кресел, туалет Марии Федоровны, шифоньер и книжный шкаф. В спальне же размещались кровати родителей, рукомойник и два громадных сундука с гардеробом Марии Федоровны. По заключению экспертизы, большая часть найденных в Даровом вещей относится к 1-ой половине 19 века. Удивительно также, что в московском архиве оказалась фотография, на которой запечатлены Мария Александровна Иванова с крестницей.

Век нынешний и век минувший

встретились и на другой фотографии: в 50-е годы в Даровое приезжала известный ученый-достоевед Галина Владимировна Коган. Она встречалась с М. С. Широковой. Фотография на память об их встрече хранится в доме Н. Т. Ростовцевой как дорогая реликвия. Эти фотографии позволяют отбросить последние сомнения в принадлежности найденной мебели к дому Достоевских. Любопытно в этой связи привести выдержки из письма юного М. М. Достоевского маменьке от 23 августа 1834 года: «Сделайте милость, любезнейшая маменька, если вы еще не выслали подводу, то пришлите мой ножичек, он остался в шкапу...»

Это упоминание о «шкапе», нечаянно проскочившее в письме, узаконивает, на наш взгляд, право найденной у Ростовцевых мебели (в числе которых кухонный шкаф) на свое место в будущей экспозиции. Вторую жизнь могут обрести и другие предметы обихода, переданные Ниной Терентьевной в художественный фонд музея «Зарайский кремль».

Это:

- 1) зеркало туалетное, настенное 19 в.;
- 2) шкатулка настенная 19 в.;
- 3) ладья керамическая;
- 4) чернильница 19 в.;
- 5) севалка (предмет крестьянского хозяйственного инвентаря);
- 6) глиняный кувшин для молока;
- 7) самовар;
- 8) молочник (предмет сервиза);
- 9) салатница;
- 10) коромысло.

Завершенный исторический цикл усадьбы открывает исследователям выход на достаточно четко определившиеся позиции, которые позволяют создать исторически обоснованную научную концепцию экспозиции в усадьбе Даровое. Основная проблема будет заключаться только в выборе: будет ли интерьер усадебного дома таким, как в 1833 году (об обстановке которого мало что известно, но он имеет прямое отношение к Ф. М. Достоевскому)? Или это будет период пребывания М. А. Достоевского (1837 – 1839 гг.)? Или период

пребывания семьи В. М. Ивановой (1852 – 1896 гг.)? Или – ее дочери М. А. Ивановой (1896 – 1826 гг.)?

Зарайский краевед И. П. Перлов, побывавший у Марии Александровны Ивановой незадолго до ее кончины, написал очерк о своем посещении и опубликовал его в сборнике «По Тульскому краю. Пособие для экскурсий» в 1925 году. Характеристики интерьера, которые он приводит в своей статье, кажутся нам заслуживающими внимания: «низенькая с темными обоями гостиная, увешанная фотографическими портретами родных», «...на стене полутемной гостиной, застеленной коврами, висят его (Достоевского) портреты». Диван, «...тот самый, на котором в Люблине на даче спал писатель». Иван Петрович пишет, что Мария Александровна «...рассказывает много и охотно интересного о жизни Ф. М. Достоевского», что она «...сберегла старый стол, за которым когда-то обедала семья Достоевских, уберегла и книжный шкаф для ученических тетрадей и книг детей Михаила Андреевича».

Хотелось бы, кстати, уточнить год смерти Марии Александровны Ивановой. Во многих справочниках называется 1929 год. Но некоторые факты заставляют усомниться в верности даты. В частности, в путеводителе по Музею-квартире Ф. М. Достоевского в Москве читаем: «В 1926 году квартира была получена – точнее, скромная ее часть – прихожая, “детская”, “рабочая зала”, всего 40 кв.м... Тем более ценными стали первые приобретения. Одно из них – результат поездки В. С. Нечаевой в сельцо Даровое, когда-то принадлежавшее Достоевским и перешедшее сестре писателя В. М. Ивановой. В скромном одноэтажном деревенском доме – флигельке Достоевских оказались три вещи, две из них, вывезенные из московской квартиры: книжный шкаф и преддиванный овальный стол, обитые уже ободранной фанерой красного дерева. Это были вещи детства писателя! Конечно, нельзя было отказаться и от дивана, обитого потертой тканью прошлого века – его купил себе Федор Михайлович, когда в 1866 г. поселился на даче, по соседству с

Ивановыми» (Музей-квартира Ф. М. Достоевского. М., 2002. С. 93 – 94). Обратите внимание на фразу «в скромном одноэтажном деревенском доме ...оказались три вещи...» Не правда ли, трудно представить, чтобы вещи из дома забирали при живой хозяйке?.. Получается, что М. А. Иванова умерла не в 1929 году, а в 1926. Такой вывод невольно складывается из сопоставления ряда событий, логическая взаимосвязь которых позволяет не согласиться с официально принятой датой смерти М. А. Ивановой. А это ведь тоже история усадьбы.

Что касается реставрации усадьбы, то реконструкция флигеля (мазанки) представляется очевидной необходимостью. По утверждению Г. В. Коган, он был разрушен в начале века. Как утверждает Э. А. Елисеев, бывший заведующий филиалом Даровое в 2002 – 2005 гг., сканер показал на том месте, где должен был быть флигель, наличие фундамента.

Приходится только сожалеть о том, что раскопки летом 2005 года начались не с самого главного объекта усадьбы, каковым является место мазанки. Хотелось бы надеяться, что нам не придется долго ждать открытия заветного фундамента, чтобы иметь возможность реконструировать памятник, имевший сакральное значение для одного из величайших творцов мировой культуры, каковым является Ф. М. Достоевский.

Вполне возможно, что не всем придется по душе идея создания «новодела», но мы знаем много примеров создания новоделов на руинах, как, например, Шахматово, которые стали местами паломничества стосковавшихся по духовной пище людей. А в данном случае реконструкция более чем оправдана. Только тогда можно будет сказать, что мы не только вернули детство писателю, но и островок великих духовных ценностей, который был для Федора Михайловича планетой любви и добра.

Реконструкцию необходимо проводить, во-первых, на основе архивной фотографии мазанки, поступившей в фонд Гослитмузея из рук А. Г. Достоевской, а также описания

старожилов, в частности, С. А. Савостиной, дед которой служил у Ивановых конюхом (она видела где-то изображение этого домика и описала нам его довольно подробно); во-вторых – отталкиваясь от описания Андрея Михайловича – «флигелек для нашего приезда состоял из трех небольших комнаток» – воссоздать внутреннее пространство с перегородками анфиладного типа (ибо вряд ли здесь возможны какие-либо варианты).

О том, что должно быть в интерьере мазанки, у нас есть определенные умозаключения, но мы не считаем пока возможным выносить их на обсуждение. Нашей задачей было – представить по возможности наглядно историю усадьбы, исходя из которой, можно было бы сформировать принципы создания научной концепции экспозиции.

Осиротевший в 1926 году дом претерпел еще ряд изменений: впоследствии была разобрана людская (за нехваткой строительного материала, по словам К. П. Романцевой), веранда стала закрытой пристройкой. Дом стали использовать как сельскую библиотеку из книг, множество которых остались от обитателей дома. Наверное, это было лучшее, что могла сделать для людей советская власть в память о писателе.

Последняя тема, которую нельзя проигнорировать в силу того, что она символизирует начало и конец, вхождение и исхождение, рождение и смерть, вход и выход, – это тема первых шагов... в усадьбу. Где, в каком месте, въезжали или входили Достоевские в свою усадьбу? Если въезжали, то, вряд ли со стороны Моногарово. Скорее всего – со стороны каширской трассы, в районе деревни Алферьево (где-то между Чермашней и Даровым). Если входили, то, скорее всего, не со стороны деревенской улицы – ибо это нарушало сословные границы; и еще потому, что с торца дома, обращенного к деревне не могло быть входа. Тогда, скорее всего, въезд в усадьбу был со стороны дороги конюшни, поля. На межевом валу мы можем видеть как раз прорезанные вровень с землей проходы. Скорее всего,

здесь и был проезд и проход. Учитывая, что по счастливому стечению обстоятельств, здесь – на въезде – поставлен и памятник Федору Михайловичу – становится очевидной необходимость установить здесь начало экскурсионного маршрута. Это важно иметь в виду в случае установки вокруг усадьбы ограды, чтобы учесть в ее дизайне архитектурно-ландшафтный аспект.

Возвращаясь ко дню сегодняшнему, остается констатировать, что в 1993 году пребывание здесь Ф. М. Достоевского было увековечено великолепным памятником

(скульптор Ю. Ф. Иванов) и открытием скромной экспозиции в усадебном доме. С тех пор ничто уже не тревожит мертвой тишины усадьбы, в которую в теплое время года приезжают туристы – из Москвы, России, стран Евразии, Японии и даже ...Америки. В 2002 году в Даровое от основной линии шоссе проложили асфальтовую дорогу. А вот дорога к Моногаровскому храму Сошествия Святого Духа, куда ходили Достоевские по воскресеньям и праздникам, осталась такой же, как 200 лет назад...

## ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

До сих пор исследователям, работающим над восстановлением поместья Михаила Андреевича Достоевского, где его сын, Федор Михайлович Достоевский провел лучшие из своих детских лет, были известны только межевые планы 1772 года – деревни Даровое и села Черемошни. Немалую лепту в наше представление о том, какими были эти места в годы пребывания здесь писателя (1831–1837) дают так называемые «Геометрические специальные планы (чертежи)», которые были изготовлены в середине XIX века профессиональными землемерами, как правило «первого класса». Эти планы гораздо более подробные и детальнее, нежели «межевые» XVIII века, кроме того, выполнены лишь через несколько лет после того, как будущий писатель расстался со своим любимым местом, своей «малой родиной» и отправился в Петербург.

На этих планах виден последний маршрут Михаила Андреевича Достоевского, а его смерть обозначена его внучкой и дочерью писателя, Любовью Федоровной Достоевской, очевидно, основывавшейся на семейном предании: «Однажды летом он поехал из Дарового в другое свое поместье Чермошню и не вернулся.... Его нашли потом на полпути, задушенного подушками из его экипажа. Кучер с лошадьми исчез; исчезли и некоторые крестьяне деревни. При допросе на суде другие крепостные деда признали, что это был акт мести. <...> вся семья деда считала эту насильственную смерть позором, никогда не упоминала о ней и не разрешала друзьям Достоевского, знавших его жизнь в мельчайших подробностях, писать об этом в их воспоминаниях о моем отце...»<sup>1</sup>

В разделе «смертные случаи» Канцелярии Тульского Губернатора Ведомости о происшествиях за 17 числа июня 1839 года (Ф. 90, оп. 1, ед. хр. 15246, с. 47 об. – 48), значится: «Каширского уезда в селе Даровом,

6 числа, помещик оногo, Надворный Советник Михаил Андреевич Достоевский, 54 лет, скоропостижно умер от апоплексического удара».

«Как стая коршунов, – продолжает Андрей Михайлович, младший брат писателя, – наехало из Каширы так называемое временное отделение <...> в деревню Даровую приезжала бабушка Ольга Яковлевна, посланная дядею за оставшимися сиротами. Бабушка, конечно, была на могиле отца в селе Моногарове, а из церкви заезжала к Хотяинцевым. Оба Хотяинцевы, т.е. муж и жена, не скрывали от бабушки истинной причины смерти папеньки, но не советовали возбуждать об этом дела...»<sup>2</sup>. Достоевский в этот момент находился в Петербурге, в качестве кондуктора Главного инженерного училища, и очень тяжело переживал смерть отца – возможно, особенно тяжело потому, что, из-за скупости последнего и своего бедственного материального положения, иногда ловил себя на неласковых мыслях об отце.

Ревизии по имениям Достоевских в Тульской губернии, как свидетельствуют архивные документы, проводились за годы их владения с 1831 по 1850 год, что, разумеется, дает бесценную возможность лучше понять устройство их земель и построек, существовавшее в годы пребывания здесь будущего писателя.

В фонде 1356 РГАДА хранятся губернские и уездные атласы и планы городов генерального межевания 1785 года, в частности, карта Тульского помещничества (№ 6059), Губернская карта (№ 6060), почтовая карта Тульской губернии (№ 6061–6063), Генеральный уездный план Каширского уезда (№ 6128 и 6129), Топографическая уездная карта (№ 6130 и 6131), Уездный атлас (№№ от 6132 по 6137). Эти материалы позволяют с большей, чем раньше, точностью, выяснить, чем именно в населенных пунктах Даровое, Черемошня и

Монагарово владел Михаил Андреевич Достоевский и какими конкретно землями, качественно и количественно, владели затем его наследники.

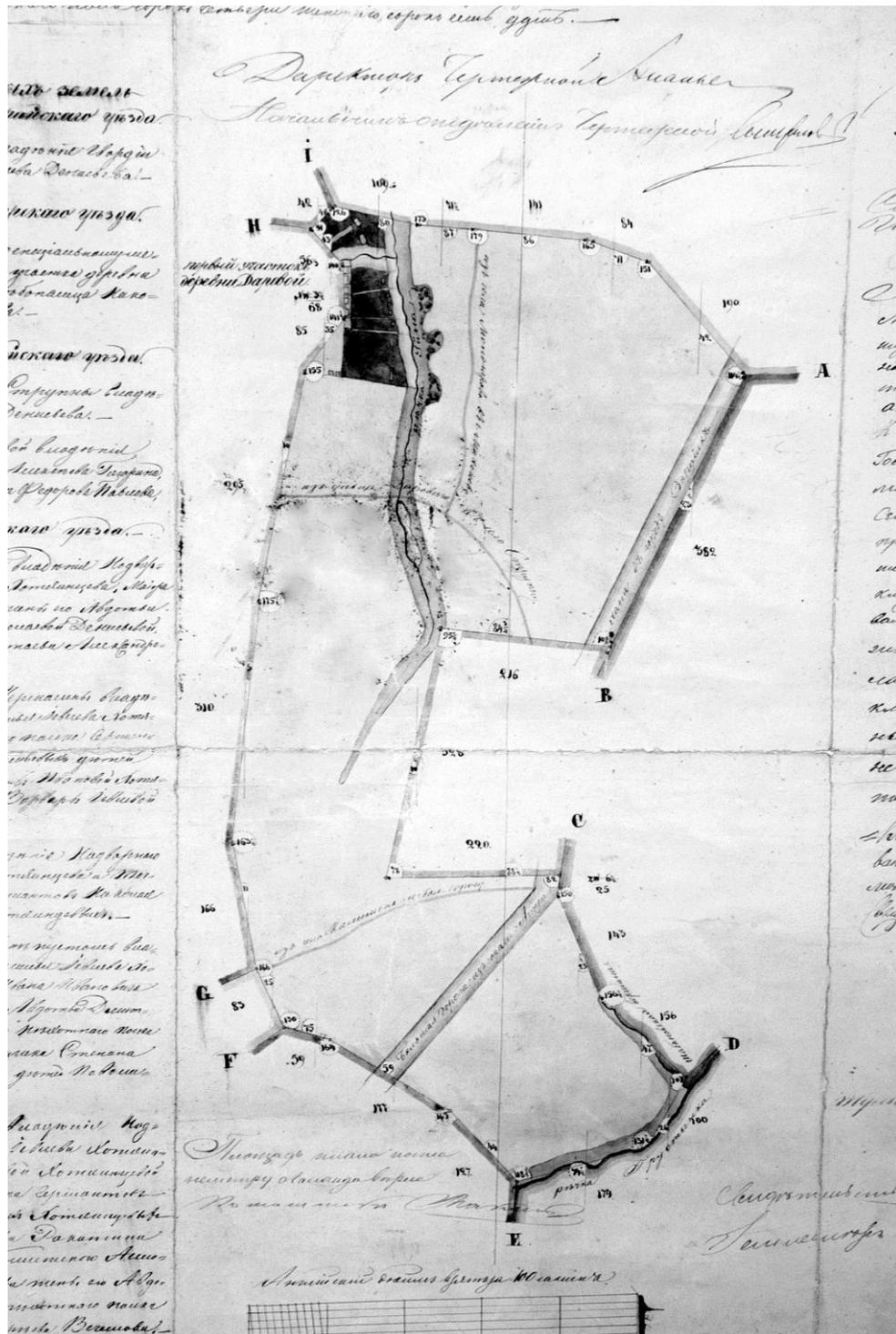
Надо признаться, что при поисках деревень Даровое и Черемошня обнаружилось сразу несколько населенных пунктов с таким или похожим именем. Сравнительный анализ позволил не только идентифицировать документы и обнаружить правильные, но и установить близость села Мокрое, упомянутого, наряду с Черемошной, в «Братьях Карамазовых», к имени отца Достоевского, который считается некоторыми исследователями одним из прототипов Федора Павловича Карамазова (План деревни Мокрое – РГАДА, Ф.1345, опись 6, ед.хр. 1446–1447, от 26 октября 1847 года).

Из находящихся в фонде 1345 РГАДА материалов особенный интерес для архитекторов, восстанавливающих усадьбу Достоевских, и исследователей творчества Ф. М. Достоевского представляют четыре документа.

**РГАДА, Ф. 1345, опись 6, ед. хр. 567** «Геометрический специальный план Тульского губернии Каширского уезда деревни Даровой, которая состоит в общем владении Коллежского асессора Михаила Андреевича Достоевского, Майора Кавалера Павла Петровича Хотяинцева, Штаб-Капитанши Веры Дмитриевны Дашковой, Штаб-Капитана Ивана Алексеевича Бартоламеева, вольного Хлебопашца Николая Данилова Фитисова. Межевание учинено в 1770 году Августа 26 дня Землемером Капитаном Лопатиным, а по отношению Г. Посредника 2-го участка Гвардии Полковника и кавалера Сергея Алексеевича Волоцкого внутреннюю ситуацию снимал Землемерный помощник Кондиано. Сколько каждому владельцу следует земли, то значится в экспликации плана сего». Судя по всему, наследники и представители М. А. Достоевского в этот момент на месте отсутствовали, так как внизу документы значится: « За неприбытие владельцев означенной дачи, госпожи Надворной Советницы Варвары

Михайловны Карепиной, Надворной советницы Веры Михайловны Ивановой, и за недоставлением в узаконенный срок отзывом на основании параграфа 19 Инструкции Высочайше Утвержденной Каширского уезда 2 участка Посредник Волоцкой руку приложил».

**Ф. 1345, опись 6, ед. хр. 568.** «Геометрический специальный поверочный план Тульской губернии Каширского уезда деревни Даровой, состоящей по полюбовному положению по владении умершего Коллежского Советника Михаила Андреевича Достоевского; отставного инженер-подпоручика Михаила и Губернского секретаря Андрея Михайловых Достоевских; Надворных Советниц Варвары Михайловы Корепиной и Веры Михайловы Ивановой и несовершеннолетних Николая и Александра Михайловых Достоевских и Вольного Хлебопашца Николая Данилова Фетисова. Обмеженный при Генеральном межевании бывшем в 1770 году Августа 24 дня Первокласным Землемером Капитаном Лопатиным, а по отношению посредника Каширского уезда 2-го участка Гвардии Полковника Волоцкого согласно полюбовной сказки межа утверждена и план сей с показанием участков сочинен по меридиану магнитной стрелки бывшему при Генеральном Межевании того относилось вправо к Востоку на 3 S градуса в 1850 году Сентября 3-го дня черчено Уездным Землемером Кондиано-Скилькони...». К этому «плану» присовокуплена «Экспликация», дающая точные документальные данные о том, сколько земли принадлежало каждому из владельцев, включая и наследников Михаила Андреевича (Федор Михайлович Достоевский от своей доли отказался и никогда фактически Даровым не владел): «В первом участке значущимся на плане под № 1-м во владении гг. Достоевских состоит земли: Пашенной – 167. 1231; Сенного покосу – 5.400; Кустарнику – 2300; Под усадьбой и выгоном – 7.390; Под большою дорогой – 8.2330; Под проселочными дорогами – 1.990; Под речкою и озерами – 1220. Всего вообще – 191.1561.». После данных о количестве земли других



Фрагмент межевого плана 1850 г. (РГАДА. Ф. 1345. Оп. 6. Ед. хр. 568)

владельцев, значится: «А всего по всей окружной меже удобной и неудобной земли 219.1291. За исключением же неудобных, меже осталось одной удобной – 204.1921.» Подпись под планом также содержит имена Достоевских: «Межевал Первокласный землемер Капитан Лопатин, и по соглашению Посредника Каширского уезда 2-го участка и любовной сказке заверяет план... уездный землемер Кандиано. При сем был и подписался. К сему плану вместо поверенного опекуна Господ моих Достоевских крестьянина их Савина Макарова, по безграмотейству его и личной просьбе – Села Моногарова Пономарев Иван Игумнов руку приложил. А что вольный хлебопашец Николай Фетисов в рукоприкладстве отказал, отзываясь неучением грамоты и прочие именованные дач владельцы не насылаемой повязи для рукоприкладства к сему плану не прибыли и поверенностей от себя не выслали, в том выше и нижеподписавшиеся сторонние люди и свидетельствуют». За безграмотных понятых «к сему плану ... Священник Павел Проферансов руку приложил».

**Ф. 1345, опись 6, ед. хр. 1553 – 1554.** Черемошня (№ 1552 – «Письменное межевое производство Черемошни»). От 14 июня 1854 года. «Геометрический специальный поверочный план дачи Тульской губернии Каширского уезда деревни Черемошня, что была пустошь со всеми принадлежащими к ней землями, которая по любовному положению состоит во владении Коллежской Советницы Веры Михайловны Ивановой, Майора Павла Петровича Хотяинцева, Инженер Штаб-Капитана Владимира Николаевича Ладышинского и села Моногарова Священно-церковно служителей. Обмежевана при генеральном межевании в прошлом 1770 году Августа 25 дня, Первокласным Землемером Капитаном Лопатиным, а окружная межа поверена по отношению Посредника Каширского и Алексинского уездов Гвардии Полковника и Кавалера Волоцкого по любовной сказке межи утверждены и план подчинен по меридиану магнитной стрелки бывшему при генеральном межевании, которое со времени

отклонилось вправо к Востоку на 4 градуса в 1854 году июня 14 дня. Черчено уездным землемером Кандиано». К плану прилагается «Экспликация», где содержатся данные о количестве земли разных типов, содержащихся на участке.

**Ф. 1345, опись 6, ед. хр. 586.** Моногарово, Ноябрь 1847 года. Документ свидетельствует о том, что М. А. Достоевскому принадлежало не только Даровое и Черемошня, но и часть Моногарова: «Геометрический специальный план Тульской губернии Каширского уезда даче селу Моногарову, которое состоит в общем чересполосном владении Майора и Кавалера Павла Петровича Хотяинцева, Штаб-Капитанши Веры Дмитриевны Дашковой, Штаб-Капитана Алексея Ивановича Бартоломеева и покойного Коллежского асессора Михаила Андреевича Достоевского. Межевание учинено в 1770 году Августа 3-го дня Первокласным Землемером Капитаном Лопатиным и по поручению Г. Посредника Каширского уезда 2-го участка Гвардии Полковника и Кавалера Сергея Алексеевича Волоцкого внутренняя ситуация и чересполосные земли сняты в 1847 году Ноября 17-го дня землемером Кандиано...» В прилагаемой экспликации обозначено, что во владении Хотяинцева находилось в общей сложности 133.1775; у Дашковой – 79.707; Бартоломееву принадлежало – 87.513. Во владении же М. А. Достоевского, под № 4, значилось: «Пашни – 22.448; Лугу – 1935; под проселочными дорогами – 519. А всего – 23.502».

Автор публикации выражает свою глубочайшую признательность первому директору Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского в Петербурге, Борису Варфоломеевичу Федоренко, ценные советы которого помогли в поисках этих материалов.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> *Достоевская Л.Ф.* Достоевский в воспоминаниях своей дочери. СПб., 1992. С. 39.

<sup>2</sup> *Достоевский А.М.* Воспоминания. СПб., 1992. С. 104.

## УНИКАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК РУССКОЙ ПРИРОДЫ

Группой специалистов ЦТРК «Преображенское» в апреле – сентябре 2005 г. были выполнены натурные изыскательские предпроектные работы в усадьбе Достоевских-Ивановых «Даровое».

Была обследована наиболее ценная в мемориальном отношении территория центрального ядра усадьбы площадью 4,3 гектара в пределах исторических земляных валов. Участок включал ближайшее окружение флигеля-музея и мемориальную липовую рощу.

Были выполнены следующие виды работ: предварительные архивные изыскания, инвентаризация старовозрастных деревьев с нумерацией стволов в натуре, отвод деревьев в первоочередную рубку. Были составлены ландшафтное описание территории и план современного состояния в масштабе 1:500. Намечен в натуре и нанесен на «План современного состояния» рекомендуемый экскурсионный маршрут.

Все старовозрастные деревья были обследованы и занесены в ведомость инвентаризации деревьев. В ведомости указаны параметры деревьев, дана оценка их состояния, а также назначены первоочередные мероприятия по уходу за ними.

Для ландшафтного анализа территории, оценки кустарниковой растительности, напочвенного покрова, элементов рельефа и др., было выполнено ландшафтное описание территории.

В течение последних лет за липовой рощей почти не ухаживали. В ней зафиксировано наличие аварийных, сухостойных и усыхающих деревьев. Некоторые молодые экземпляры выросли на месте исторических фундаментов несохранившихся зданий. Ценная древесно-кустарниковая растительность оказалась местами засорена обильной осиновою порослью и малоценным подлеском. В результате ухудшились условия развития

ценных видов, снизилась освещенность и проветривание рощи, получили развитие заболевания: мучнистая роса на дубе, бузине и др.

В конце лета 2005 года почти все деревья, отведенные нами в первоочередную рубку, усилиями участников экспедиции были вырублены. Исключением была осина, стволы которой были только «окольцованы». Снятие коры у комля в форме кольца – обычный в лесоустройстве прием для предотвращения появления после вырубki обильной корневой поросли. Окольцованные осины подлежат удалению после их полного усыхания на корню.

В последующие годы необходимо будет провести дополнительные рубки, так как убрать сразу все малоценное, что мешает развитию мемориальных деревьев, нельзя из опасения резкой смены микроклимата и, как следствие этого, выпада старовозрастных лип.

Первоочередная рубка проводилась под руководством наших ландшафтных архитекторов и дендрологов силами студентов и преподавателей Коломенского пединститута и других добровольных помощников делу возрождения усадьбы «Даровое». Они выполнили расчистку рощи от валежника, а также сорной травянистой и кустарниковой растительности. При этом ставилась задача максимального сохранения ценного подлеска, подроста и напочвенного покрова. (Если посетить в рощу весной, то можно увидеть здесь сплошной ковер из розовой медуницы и желтой ветреницы лютичной с пятнами изящной лесной купены).

В липовой роще специально оставлена почти без расчистки юго-западная «дикая» ее часть с почти светонепроницаемым пологом и густым подлеском. Мы предполагаем, что именно в ней юные братья Достоевские, строили шалаши и играли в индейцев и «диких» людей. Нами сохранено здесь

интересное липовое дерево, как пример борьбы за существование, представляющее собой узкую полосу ствола с единственной живой вертикально растущей ветвью. Дерево названо нами «кошечья живучесть» (по выражению Ф. М. Достоевского), оно очень уместно в «диком» лесу.

После уборки аварийных деревьев, сухостоя и валежника, выкашивания заросших крапивой полян в роще был проложен кольцеобразный экскурсионный маршрут. Он начинается от флигеля-музея и подводит к бывшему фруктовому саду и Фединой роще. С одной из точек обзора маршрута открывается прекрасный вид на окрестные поля, леса и бывший Нечаевский погост с несохранившейся деревянной часовней. Церковь, ставшая к 1830-м годам часовней, упоминается в дневниках А. М. Достоевского и Экономических примечаниях 1776 – 80 гг. (о последнем документе будет сказано ниже).

Следует особо остановиться на описании «густой и тенистой» липовой рощи. Она производит на посетителя неизгладимое впечатление. Удивляют колоссальные размеры деревьев до 27 метров высотой с мощными ровными стволами и высоко поднятыми, густо облиственными кронами. Липы размещаются по преимуществу попарно или в виде многоствольных «букетов». Такое расположение деревьев наводит на мысль о естественном происхождении липовой рощи.

Около 1/3 всех лип имеют сдвоенные стволы, Это может свидетельствовать о семенном происхождении деревьев. Известно, что в плодовой веточке этой породы содержится по два орешка.

Естественное порослевое происхождение может объяснить наличие «букетных» экземпляров, ведь липа при неблагоприятных условиях образует обильную комлевую поросль. В пользу естественного происхождения рощи говорит и значительное расхождение лип по возрасту (200 – 280 лет) а также бессистемное, естественное размещение деревьев относительно друг друга. Владельцы не случайно называли в письменных

источниках липовый массив у дома рощей, а не садом. Следует отметить, что липа – типичная лесообразующая порода средней полосы России.

Состояние мемориальных деревьев, возраст которых сегодня приближается к предельной возрастной границе, 300-м годам, по преимуществу хорошее и удовлетворительное. Есть деревья со стволовыми гнилями, сухобочинами и дуплами, которые нуждаются в лечении. Но их процент к общему количеству невелик.

Всего в роще и ближайшем окружении флигеля зафиксировано 427 деревьев в возрасте 100 лет и старше. Из них старовозрастные липы насчитывают 407 шт.

Инвентаризация деревьев моложе 100 лет не велась. По преимуществу это естественное возобновление липы 20 – 60 лет, сосредоточенное в северо-западной «дикой» части рощи, а также береза, дуб, осина, единичные клен и ива ломкая 20 – 40 лет естественного происхождения, выросшие на южном и северном граничных земляных валах.

В усадьбе Достоевских среди естественных насаждений встречаются элементы искусственного происхождения. Они не многочисленны. Во-первых, это самая старая по возрасту 280-летняя почти полностью утраченная посадка лип в виде четырехугольников на двух небольших древних курганах возле флигеля. Под их кронами Достоевские пили чай. От посадки до наших дней дожили лишь два дерева. На местах выпавших лип кое-где выросла 20–40-летняя поросль. Сохранение двух патриархов, «помнящих» своих знаменитых хозяев, является одной из важнейших задач на сегодняшний день. Величественные по своим размерам и в то же время сильно ослабленные деревья с полыми стволами и без вершин, нуждаются в лечении и систематическом уходе. Утраченные к настоящему времени на курганах экземпляры лип следует восстановить путем пересадки молодых деревьев из рощи.

Вторым элементом регулярности является старовозрастная рядовая посадка из желтой акации, фрагменты которой сохранились на

граничных валах в районе флигеля и между липовой рощей и бывшим фруктовым садом. Желтая акация – одна из самых популярных пород кустарника, которые использовали для создания живых изгородей в русской усадебной культуре прошлого.

На земляных валах под пологом деревьев также единично встречаются фрагменты граничной обсадки из крыжовника и малины, упоминаемые в дневниках А. М. Достоевского. Конечно, они – не те самые, а их естественное возобновление. Кустарник затенен соседними деревьями и подлеском, угнетен. Он также нуждается в уходе и осветлении территории.

Растущие на южном граничном земляном валу могучие 180 – 220-летние дубы по своему расположению также напоминают граничную посадку. В кронах деревьев – много сухих сучьев. Дубы нуждаются в обрезке крон, лечении, осветлении прилегающей территории, заросшей молодыми деревьями, и систематическом уходе.

В документах Российского государственного архива древних актов есть краткое описание усадьбы Даровое 1776 – 80 гг. Оно было составлено за 50 – 70 лет до приезда в усадьбу Достоевских. (Ф. 1355. Экономические примечания, оп. 1, д. 1816, с. 102–103). В деле говорится, что в усадьбе растет лес «дровяной дубовой, березовой, осиновой, ольховой». Есть и строевой лес (по-видимому, тоже дубовый). «Зверей нет, птицы соловьи, чижи и щеглы». Липа не упоминается. По-видимому, это упущение. В 1833 году, по воспоминаниям А. М. Достоевского липам в «густой и тенистой» роще было уже около 100 лет, следовательно, момент возникновения массива приходится как минимум на 1730–50 годы.

Все остальные перечисленные в описании 1776 – 80 гг. деревья: дуб, осина, береза и ольха, – встречаются сегодня в усадьбе и ее ближайшем окружении. В названном документе приводится также краткое описание фруктового сада при господском доме, в котором росли яблони, груши и сливы, с которых «собираемые плоды употребляют для домашнего расхода».

Обследование сада необходимо включить в задачу дальнейших натурных изысканий. На его территории сегодня растут немногочисленные плодовые деревья, среди которых встречаются 100-летние груши.

В липовой роще и возле флигеля нами зафиксировано и описано также несколько единичных экземпляров деревьев других ценных пород, появившихся здесь при Хотьинцевых, Достоевских и Ивановых. Это – вяз гладкий (240 и 200 лет), клен остролистный (160 лет) и сосна обыкновенная (150 лет), посаженные владельцами для украшения усадьбы. Клены и вязы находятся в хорошем состоянии, имеют мощные стволы и кроны. Вяз не поражен голландской болезнью, что в наше время является большой редкостью. Единственная сосна, растущая перед флигелем-музеем, сильно ослаблена, имеет сухую вершину и нуждается в лечении и уходе.

В отношении исторического размещения дорожек в липовой роще можно сказать, что предварительный поиск их не дал положительного результата. Вероятнее всего, дороги и тропинки не имели твердого покрытия. В лучшем случае они, будучи грунтовыми, время от времени посыпались песком. Такие дорожки плохо сохраняются. Однако отказываться совсем от их поиска не следует. Необходимо в дальнейшем провести закладку почвенных зондажей в местах предполагаемых дорог.

В результате опроса местных жителей и обследования ближайшего окружения усадьбы нами точно установлено местоположение Фединой рощи, любимого места игр будущего писателя. Она располагается к северо-западу от липовой рощи в молодом (40 – 80 лет) массиве липы и осины. По воспоминаниям А. М. Достоевского, роща была березовой. Из некоторых источников нам известно, что березы вырубил. На смену им пришли совсем другие породы, дающие обильное семенное и порослевое возобновление. Известно, что береза – недолговечное дерево, ее предельный возраст составляет 150 лет. С 1838 года прошло уже около 170 лет. В

современной Фединой роще можно встретить небольшое количество молодых экземпляров березы, потомков «тех самых» деревьев.

Но самая главная особенность рощи дошла до наших дней почти без изменений – это ее уникальный рельеф. Неглубокие, но извилистые и ветвистые овраги, в которых любил прятаться юный Федя, сегодня пересекают ее территорию во всевозможных направлениях.

Для восстановления исторического породного состава в течение ряда лет потребуется проведение постепенных рубок осины и липы с посадкой молодых берез. Резкую 100% вырубку лип и осин проводить нецелесообразно, т. к. при этом можно нарушить среду обитания животных и птиц,

невольно изменить форму оврагов, склоны которых сейчас удерживают растущие на них деревья.

В северной части Фединой рощи нами обнаружено два огромных, не менее чем 100-летних, муравейника, возраст которых более точно смогут определить специалисты. Севернее рощи, вплотную к ней, в пойме бывшего усадебного пруда до недавнего времени находилось урочище, в котором жили бобры и цапли. Было бы целесообразно восстановить места обитания этих редких животных и птиц.

Выполненная нами работа является началом к подробному изучению усадьбы Достоевских и восстановлению этого уникального уголка природы и русской культуры в его исторических границах.

## ИЗ ИСТОРИИ МУЗЕЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО В ДАРОВОМ, ИЛИ О СПОРЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В 20-е ГОДЫ

История первого музея в Даровом достаточно загадочна. В научном сообществе ходит ряд слухов, например, об основании музея по личному распоряжению Луначарского. Не известны ни точные даты, обозначающие вехи жизни музея, ни концепция музея, ни документы, подтверждающие во многом предположительные на сегодняшний момент сведения о существовании музея.

Между тем в Центральном государственном архиве Московской области содержатся письма, во многом проливающие свет на жизненную коллизию первого музея в Даровом. Речь идет о фонде Московского отдела Народного образования, в котором содержится «Переписка с Главмузеем и Каширским Уисполкомом об охране Усадьбы-музея “Даровое”, принадлежавшего писателю Достоевскому» (Ф. 966, оп. 3, № 80). Крайние даты документов, входящих в дело, – 2 мая 1923 года и 9 июля 1926 года.

Большинство документов представляет собой копии бумаг, циркулировавших между различными заинтересованными министерствами и ведомствами (Наркомпрос, Наркомзем, Уисполкомы, Главмузей, Моссовет и т.д.) и осевших в ЦГАМО – центральном хранилище Московской области. Напомню, что на тот момент область была единицей более крупной, нежели губерния (близкая к нынешнему Центральному федеральному округу) и включала в свой состав Тверскую, Рязанскую, Тульскую и Владимирскую губернии. Поэтому, несмотря на нахождение Дарового в Тульской губернии, а Зарайска – в Рязанской, все эти территории относились к Московской области.

Итак, 2 мая 1923 года племянница Ф. М. Достоевского обратилась с просьбой к Зарайскому отделу по делам музеев с просьбой ходатайствовать перед Л. Каменевым и А. В. Луначарским о

национализации усадьбы с целью создания в ней музея. М. А. Иванова предлагает модель музея, ссылаясь на опыт национализации усадьбы Д. В. Григоровича в Дулебине (тогда еще Каширского уезда). При этой модели бывший владелец усадьбы становился заведующим музеем и, таким образом, продолжал жить в своем доме, просто не обладая больше правом собственности на него (ср. ситуацию с Ясной Поляной).

Однако дело в том, что правом собственности Иванова, по сути дела, уже и не обладала, что видно из того же обращения: «В настоящее время усадьба Достоевского состоит в распоряжении Управления Каширской группы Главсовхоза <...>. Не исключена возможность передачи этой усадьбы вместе с садом от меня какому-либо иному лицу для эксплуатации сада...» (Л.2). Иначе говоря, правообладание Ивановой было достаточно спорным фактом. Со стороны Каширских властей оно явно не признавалось. Поэтому попытка национализации, осуществленной через республиканский центр, была еще и последней возможностью сохранить целостность усадьбы. В том же прошении Иванова заявляет краеугольное условие – неделимость территории имения: «Прошу <...> ходатайствовать, <...> чтобы усадьба <...> была национализирована вместе с садом, парком и огородом (всего в количестве десяти десятин) и передана мне на хранение...» (Л. 2).

Обратим внимание, что Иванова даже не информирует Каширский Главсовхоз, которому *de jure* принадлежит спорная территория, о своем прошении. Рассчитывает она явно на письмо в Каширу «сверху». И действительно, сперва все идет как нельзя лучше. Уже 22 мая 1923 г. приходит письмо из Отдела музеев и охраны памятников искусства и старины Наркомпроса, в котором сообщается:

«...имение “Даровое” признано неприкосновенным памятником историко-художественного значения и находится в непосредственном ведении Отдела музеев. <...> Отдел просит поставить в известность подведомственные ему органы власти о недопущении в указанном имении всякого рода порубок и хищений...» (Л. 3). Имение вроде как было национализировано, выведено из сельскохозяйственного оборота, что давало возможность начать создание музея. Наблюдательный контроль (de jure усадьба сперва была отнесена непосредственно к Главмузею) был отдан Зарайскому Умузею (Л. 3). В июне 1923 года формируется план развития усадьбы, опись построек и земель, земельная схема усадьбы, ее «официальная» история.

Однако уже к декабрю 1923 г. начинает всплывать проблема правообладания. Выясняется, что копия письма от 22 мая 1923 года, установившего право собственности Наркомпроса, не дошла до Каширского Уземотдела. Поэтому 11 декабря 1923 года заведующему Отделом по делам музеев приходится писать официальный циркуляр в Управление землеустройства с просьбой «...дать распоряжение Каширскому Уземотделу о незаключении каких-либо договоров на означенное владение» (Л. 13). Здесь же сообщается, что Даровое включено в список 43-х охраняемых садов и парков РСФСР. Забегая вперед, отметим, что проблема земельного спора окажется неразрешенной еще в мае 1926 года. Более того, в мае 1926 г. выяснится, что Каширский УЗО так и не получил известия о переводе земель в Даровом из его ведения в республиканское (Л. 26).

Параллельно неразрешенности землеотвода с августа 1924 года начинает набирать обороты другой конфликт, между М. Ивановой и даровскими крестьянами. Как мы помним, племянница Достоевского настаивала на мемориальном характере сада и его неотделимости от парка и собственно усадьбы. Но с юридической точки зрения факт вхождения сада в музей был достаточно спорен. Дело в том, что Иванова просила национализировать то, что принадлежало ей.

Но сад до 1921 года принадлежал местным крестьянам и лишь был передан ей в управление Каширским Главсовхозом. М. А. Иванова смогла в 1921 году убедить чиновников в хищническом отношении крестьян к садовым деревьям. Однако был ли сад национализирован вместе с усадьбой?

Судя по всему, Каширский Уземотдел не знал / признавал этого факта. Во всяком случае, эта организация в 1925 году видит усадьбу принадлежащей к собственной территориальной подструктуре, к Достоевскому ВИКу (Волостному исполнительному комитету). Главнаука, которой 16 апреля 1925 г. передан музейный комплекс, почему-то как бы признала законными притязания ВИКа: «Главнаука Наркомпроса не встречает возражений против хозяйственного использования со стороны кого-либо усадьбы “Даровое” ... но лишь при условии, чтобы со стороны Достоевского ВИКа были приняты в самом срочном порядке меры к сохранению в целости названной усадьбы» (Л. 24). Обратим внимание, что под «кем-либо» здесь понимается именно Достоевский ВИК (иначе «Артель им. Достоевского»).

Однако претендовал на сад не только Каширский уезд, но и местные крестьяне, распорядившиеся садом некоторое время до 1921 года. Если М. А. Иванова отказалась от своей собственности в пользу государства, то не должны ли были вернуться к крестьянам права на сад, переданный ей *в управление*?

По-видимому, этот вопрос сильно начинает «мучить» крестьян с августа 1924 года, когда появляется первый крестьянский донос (по тональности) на М. Иванову. Центральной темой его служит как раз возвращение сада: «...ходатайство перед властями о восстановлении прав гражд<анского> Даровского общества на право пользования садом при сельце Даровом, который в настоящее время находится в единоличном и бесконтрольном пользовании, не оплачивается никакими государственными обложениями и налогами бывшей помещицы М. А. Ивановой» (Л. 14 – 14 об.). Более того, крестьяне упрекают хранительницу в мошенничестве: якобы она

лишь фиктивно передала дом государству, чтобы не платить налоги и получать пенсию, но при этом не охраняет сад, а получает с него доход: «Кроме большого дохода с сада получает пенсию в размере 37 р. 50 коп. в месяц, пользуется нормой пахотной и луговой земли...» (С. 14 об.).

Донос появился не на пустом месте. Требования крестьян были сформулированы в «Протоколе общего собрания граждан селения Даровой» от 30 июля 1924 года. В нем формируется инициативная группа из 5 человек (Макаров А., Чупряев Р. Ф., Чухнин Г. Н., Макаров Т. Д., Милованов Я. Л.), которой поручается ходатайствовать перед Зарайским отделом Археологического общества о передаче «под ответственную охрану всех усадебных и хозяйственных построек, парка и сада» (Л. 15). Иначе говоря, «отвоевать» сад – это минимальная задача, тогда как максимальная – захват всей усадьбы. Ходатайство оформляется 6 августа. В нем инициативная группа берет на себя обязательство – отчислять определенный процент доходов (согласовать который и предлагается) на ремонт дома и поддержание парка. Тем не менее 8 августа 1924 г. заведующий Зарайским музеем решительно отказывает крестьянам.

19 августа А. М. Макаров, находящийся в следственном изоляторе им. Дзержинского, пишет все же повторный донос на Иванову. В нем ставится под сомнение родство М. А. Ивановой и Ф. М. Достоевского, говорится о контрреволюционной деятельности заведующей усадьбы, а также повторяется требование передать сад крестьянам. Причем «классовое звучание» требования еще более усиливается: «Передать фруктовый сад всех 4,5 дес. и <разрешить> пользоваться травой из сада в распоряжении всех граждан села Дарового, представив привилегию беднейшим, бессадовым крестьянам» (Л. 20). Здесь же содержится обещание создать в одной комнате дома музей и избу-читальню.

Требование крестьян опять отвергается, уже в Москве, откуда 21 августа 1924 г. присылается некая «Справка». В ней сообщается, что начато официальное расследование «деятельности заведующей

Ивановой», но при этом «...ни фруктовый сад, ни части строений в имени “Даровое”, ни другое какое-либо имущество не может быть передано кому бы то ни было без ведома и разрешения Музейного отдела» (Л. 17 об. – 18).

В октябре 1924 г. резко ухудшается состояние здоровья Ивановой. При этом Зарайский Уисполком, к которому по линии Главмузея приписана усадьба, не имеет права на охрану территории, потому что последняя находится не в Зарайском, а Каширском уезде. Поэтому 18 октября появляется просьба об организации охраны усадьбы, парка и сада, направляемая впервые за всю историю музея напрямую в Каширу. Тем самым признается факт отнесенности Дарового к Каширскому уезду и каширским властям, а заодно и к местной власти, Достоевскому ВИКу.

Каширские власти, естественно, не принимают никаких мер к охране учреждения, созданного в обход них и вопреки им. Между тем М. А. Иванову перевозят в Чермашню (Л. 26). В Даровом образуется полный вакуум власти при чрезвычайно запутанной имущественной ситуации. На этот момент не определены границы музея, но сформированы три организации, имеющие права на всю территорию: Главнаука (ей передан музей от Главмузея), Даровской ВИК и Даровское общество. В этой ситуации разворачивается неконтролируемое «хищение вековых лип» (Л. 26).

Главнаука сперва пытается «отбить» натиск Даровского ВИКа на том основании, что ходатайство об эксплуатации сада Даровским обществом было возбуждено раньше, в июле 1924 года. Тем самым косвенно признаются ранее категорически отвергаемые требования Даровского общества и спорный статус усадьбы. Главнаука, стремясь «уйти» от претензий Каширы, просит «ускорить сообщение условий сдачи сада на арендных или договорных началах Даровскому обществу» (Л. 26). Тем самым Наркомпрос, по сути дела, признал или отсутствие у него прав на Даровое, или же бессилие в фактическом

контроле над музеем.

Так или иначе, но 20 мая 1926 года в решительное наступление перешел Каширский Уисполком. Было принято постановление (протокол № 28), который положил конец спорам о судьбе земли, на которой располагался музей: «Принимая во внимание, что находящийся в ведении Зарайского отделения Главнауки сад в бывшем имении писателя Достоевского, ввиду престарелого возраста и своего состояния никакой исторической ценности не представляет и что со стороны Отделения Главнауки отсутствует соответствующий надзор, просить Президиум Моссовета войти в ходатайство перед соответствующими организациями об изъятии Даровского сада из ведения Зарайского отделения Главнауки и передаче в доходную статью местного значения» (Л. 30 – 30 об.). Это решение и было утверждено 4 июня 1926 года Президиумом Моссовета (№ 9589). Может показаться, что относилось оно лишь к саду. Но как мы помним, изначально Иванова

доказывала единство и неделимость усадьбы. Эту позицию от нее перенял Наркомпрос. Лишившись сада и оставшись без первоначальной концепции развития, Главнаука, по-видимому, лишилась всякого стимула «защищать» эту территорию. Поэтому 9 июля этим ведомством было принято решение о передаче усадьбы в ведение Мосгубмузея с важной пометой – для исполнения решения Моссовета. Было произведено типичное «недружественное поглощение»: усадьба передавалась не для развития, а для ликвидации в ней музея.

Обобщая сказанное выше, мы можем выделить три фактора – неопределенность территориальных границ усадьбы, неопределенность правообладателя и стремление к неделимости территории любой ценой, – совокупность которых привела к многогранному «конфликту хозяйствующих субъектов». Этот конфликт, на наш взгляд, привел к гибели первого музея в Даровом.

## ДАРОВОЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ

Заметки, которые я предлагаю вашему вниманию, возникли далеко не случайно. В течение двух лет я была одним из руководителей фольклорной практики студентов-филологов Коломенского пединститута, которая проходила в селе Даровом Зарайского района. Однако общение с местными жителями, запись их рассказов стали только небольшой частью нашей работы: студенты очищали пол храма, который хранит память о Ф. М. Достоевском, занимались расчисткой «Фединой» роши. И всё же, думается, нам удалось собрать и записать материалы, которые будут интересны тем, кто небезразличен к истории родного края, к имени Ф. М. Достоевского.

«Уважение к минувшему» – вот что отличает образованность от дикости, утверждал Александр Сергеевич Пушкин. Горькую глубину этих слов великого поэта особенно остро ощущаешь, когда думаешь о судьбе родной культуры. Не о культуре вообще, а о том «родном пепелище» и «отеческих гробах», которые находятся совсем рядом и по которым мы равнодушно шлёпаем, не желая замечать, что ходим-то по костям наших предков.

В двенадцати километрах от подмосковного города Зарайска находится село Даровое. В «Зарайской энциклопедии», составленной местным краеведом В. И. Полянчевым в 1995 году, читаем: «Даровое (Доровое, Дуровое, Дворовое, Даровая. ... 2 дома, 3 жителя: 1 мужчина, 2 женщины.»<sup>1</sup>. Рядом село побольше, с красивым и тревожным названием – Моногарово (местные жители говорят, что было Многогарово – горело сельцо часто). В сторону от Дарового в двух километрах – деревенька Черемошня, совсем крохотная (чуть более десятка дворов), удаленная от всех проезжих дорог. Название её произносят по-разному: Черемошня, Черёмошня (черёмух было много вокруг), Черемошна, но местные жители –

обязательно без второго «е» – Чермошна.

Все эти три «населенных пункта» – часть истории нашей культуры, великой русской литературы. Здесь прошло детство Федора Михайловича Достоевского: с 1832 по 1837 год каждое лето семья Достоевских жила в Даровом. Здесь будущий писатель пережил самые светлые, безмятежные ощущения от общения с природой, с простым народом, отголоски которых позже зазвучат во многих произведениях, когда герои в воспоминаниях будут переноситься из безрадостных будней в безоблачное детство. Приметы пейзажа Дарового отразились в воспоминаниях детства Вареньки Добросёловой («Бедные люди»), рассказчика повести «Село Степанчиково и его обитатели», Ивана Петровича («Униженные и оскорбленные»), рассказчика «Маленького героя».

«Я помню, у нас в конце сада была роща, густая, зеленая, тенистая, раскидистая, обросшая тучною опушкой. Эта роща была любимым гулянием моим... перебежишь лужайку, как ветер, задыхаясь от быстрого бега, боязливо оглядываясь кругом, и вмиг очутишься в роще, среди обширного, необъятного глазам моря зелени, среди пышных, тучных, широко разросшихся кустов... осторожно пробираешься в чащу... и мрачнее становится лес, чернее и гуще пестрят гладкие пни дерев, где начинаются овраги, крутые, темные, заросшие лесом, глубокие, так что верхушки дерев наравне с краями приходятся... Резко напечатлелся в памяти моей этот лес, эти прогулки потихоньку...», – воспоминания Вареньки Добросёловой, бесспорно, питаются очень сильными впечатлениями самого автора.

«Это маленькое и незамечательное место оставило во мне самое глубокое и сильное впечатление на всю потом жизнь и где всё полно для меня самыми дорогими воспоминаниями», – писал Достоевский уже в зрелом возрасте<sup>2</sup>.

Здесь же, в Даровом, будущий писатель

испытает одно из самых страшных потрясений юности, которое тоже будет изживать в своих произведениях, – смерть отца, Михаила Андреевича Достоевского, смерть загадочную, возможно, насильственную. Подросток Достоевский не мог не знать о той драме, которая разыгралась в Даровом после смерти матери: преданно прослужив отечественной медицине 25 лет, потеряв супругу, не имея опыта ведения сельского хозяйства, находясь на грани полного разорения, отец, очевидно, впал в отчаяние. Чем же иным как ни этими юношескими воспоминаниями, этим жгучим сыновним стыдом, рождены образы порочных стариков? Не в них ли истоки образа Федора Карамазова?

Казалось бы, совершенно очевидно, что этот «уголок земли» должен быть сохранен, превращен в историко-культурный заповедник, ведь даже местная топонимика до сих пор хранит память о Достоевских: Федин овраг и Федина роща – очевидно, эти топонимы более позднего происхождения, урочище Острог (этот лесок, расположенный совсем рядом с Даровым, конечно же, был хорошо знаком Достоевскому в детстве), урочище Лоск, на краю которого маленьким мальчиком Достоевский встретился, спасаясь от волка, с мужиком Мареем – этот эпизод детства писатель вспомнит на каторге, и воспоминание это поможет ему пережить, наверное, самое страшное жизненное испытание. Простой мужик, утешивший маленького барина, осенивший его крестом, – для Достоевского этот образ станет символом всего русского народа – народа-богоносца.

Время оказалось не так уж и безжалостно к родовому гнезду Достоевских: сохранилась липовая роща, когда-то окружавшая барскую усадьбу. Да и сам дом стоит, на том же месте, пусть только часть строения, без конюшен и хозяйственных построек, пусть перебранный и перестроенный в более позднее время: в доме жила сестра писателя Вера Михайловна Иванова, а потом ее дочери, родные племянницы Достоевского, которых до сих пор помнят местные старожилы. Но самый подлинный и древний свидетель детства

великого писателя – церковь села Моногарова, построенная в 1763 году, украшенная колокольной в 1822. Семья Достоевских ходила на службу в эту церковь, хотя находилась она во владениях соседа – помещика П. П. Хотяинцева. Может быть, эти детские воспоминания потом отразятся на страницах романа «Преступление и наказание», когда маленький Раскольников «почтительно» целует крест?

Моногаровская церковь Сошествия Святого Духа в XX веке разделила общую судьбу Русской Церкви: закрытая в 30-ые годы, она была превращена в производственное помещение. Здесь в разное время размещались клуб, магазин, цех по выпечке хлеба, склад комбикорма, хранилище цемента; в колокольне складировались химические удобрения. За годы цемент окаменел, и им до сих пор «залито» значительное пространство церкви. Из полуметровой глубины мы извлекали остатки лепнины, когда-то украшавшей потолок и стены храма. Под слоем окаменевшего цемента обнаруживали мы следы нашей родной «дикости», которая отличает нас от образованности – огромные железные детали каких-то механизмов, может быть, части бетономешалки; под слоем полуразложившейся мешковины нашли хорошо сохранившийся журнал прихода и расхода комбикорма. Мы докопали до пола, выложенного плиткой (белые и черные квадраты), очевидно, так выглядел пол и в XIX веке.

Непонятно, почему сейчас, когда везде идет восстановление разрушенных храмов, Моногаровская церковь до сих пор зияет пустыми глазницами окон? Может быть, дело в том, что коренных жителей Дарового и Моногарова можно пересчитать по пальцам? А дачники из ближнего и дальнего Подмосковья без стеснения задают приехавшим студентам вопрос: правда, что вы нашу церковь восстановите и еще и дорогу построите? После предложения помочь вывезти из церкви химические удобрения любопытствующих нашей работой сразу поубавилось. Но даже в разрушенный храм идут люди. Отец

Григорий, священник из Зарайска, проводит службу в престольные праздники в той части храма, где пол расчищен. Жительница Дарового Валентина Ивановна Ступина, которой уже за 70, окашивает дорогу возле храма. Кстати, в первые дни нашей работы она привела к нам своего внука Максима, ученика третьего класса Зарайской школы, и это был единственный доброволец, ежедневно по 6 часов долбивший цемент со студентами.

А ведь сейчас еще церковь можно восстановить в том виде, в каком она существовала по крайней мере в начале XX века. Еще живы люди в окрестных деревнях, которые помнят ее до разорения. Восьмидесятидевятилетняя жительница деревни Черемошня Мария Михайловна Ксенофонтова рассказала нам, что ее дедушка Иван Васильевич Мелехов был церковным старостой в Моногарове. Она помнит, что вокруг церкви росла сирень, а из внутреннего убранства храма назвала икону «Христос на кресте» (очевидно, распятие), икону Божьей матери и Николая-угодника. Конечно, эти три иконы, наверное, можно встретить в любом деревенском храме. И все же рассказ Ксенофонтовой свидетельствует, что еще можно собрать и воссоздать какие-то важные детали этой далекой истории: «Какая-то учительница из Моногарова пожгла иконы из церкви. Ленин запретил, чтобы было много молящихся, но мы все равно ходили в Струпну (соседняя деревня, где была действующая церковь – *Т. К.*)». Мария Михайловна вспомнила ещё одну интересную деталь: «В храме сначала клуб открыли. Ну и баба одна, Маруся Митина, пошла цыганочку плясать и ногу себе сразу сломала. А мы все и сказали: ну и Бог тебя наказал!»

Немного помнит церковь действующей и Валентина Ивановна Ступина (в девичестве Трушина): «Помню, как били колокола. Один звенел громко, на всю округу». У этой женщины с храмом связано много воспоминаний: «Сама помню в войну, когда в церкви пекли хлеб. После войны в церкви работала кладовщиком – здесь было всё для лошадей: сбруи, хомуты, вилы – я всё

отпускала. Потом был цемент – строили скотный двор и телятник».

На топонимической карте Зарайского района еще много белых пятен. Кстати, некоторые из них были заполнены студентами. Нам удалось узнать названия всех частей Моногарова: Фурки (эта часть Моногарова примыкает к Даровому), Поповка, Хотянка и Костюрино. Очевидно, такое разделение восходит к XIX столетию, когда владельцами Моногарова были сразу несколько помещиков. Название «Хотянка» связано с расположением старого помещичьего дома Хотяинцевых (один из вариантов – Вшивая Хотянка), Поповка – район ныне заброшенного дома причта, Костюрино – часть села за Моногаровской церковью, в сторону реки Кощейки. Название связано, очевидно, с фамилией помещицы Костюриной, когда-то владевшей частью имения и похороненной у Моногаровской церкви. Многие названия сохранили легенды, которые до сих пор бытуют в Даровом – Моногарове – Черемошне. Левая часть урочища Глинище называется Толокой (очень ягодное место, поэтому там много народа толклось), в центре урочища Заказник есть Оболённый овраг (там много обвалившихся глыб, даже днем из оврага можно звезды увидеть), по пути в Трегубово есть ложбина Грустынка (там даже в самый солнечный день сумрак и «странное сгущение воздуха»), речка Кощейка тоже названа неслучайно (вода «синяя-синяя, холодная, мертвая, кощеева»), Миленин лес и Миленин пруд (с ними связаны страшные, мистические истории – там жили беглые каторжане, прятались дезертиры) – в этом лесу можно было заблудиться и долго плутать.

За основу мы взяли топонимическую карту, составленную В. И. Полянчевым. Две студенческие экспедиции позволили значительно дополнить её: кроме топонимов, названных выше, на карте появился также Минаев рукав (варианты – Иванов, Демьянов рукав) – лощина (овраг) между урочищем Лоск и прудом Головка. Место, где овраг раздваивался, называлось Минаевы Портки. Последний лес перед поворотом на Даровое



имеет очень странное название – Букинские корьки.

Нами были нанесены на карту также куртинка Дубняшки и Шолохов лес, расположенные к востоку от Моногарова (часть Хотянка), Мельгуново поле, расположенное по пути из Черемошни в Назарьево; Первые Кусты – небольшая роща по краю оврага Прудище, пруд Месинёвка.

Нами было установлено также, что одна и та же местность в разных населенных пунктах обозначается по-разному, расхождения в названиях встречаются даже в пределах одной местности. Так, Ячкин лес именуется в Черемошне Дячкиным и Дьячкиным лесом, урочище Бегичево чаще всего называется Беичево, одна и та же ложбина зовется Иванов – Минаев – Демьянов Рукав. В Черемошне Черемошинская роща называется Володин березник.

Это далеко не все из топонимических находок, которые нам удалось собрать за время нашей экспедиции. Вообще, местные жители, и пожилые, и сравнительно молодые, убеждены, что живут они в очень необычном месте. «Места гиблые, мистические, жутко разбойные, – рассказывала нам одна из жительниц Дарового, – раньше мужики ходили на разбой с кистенем на большую дорогу». В Черемошне жителей Моногарова называли не иначе как моногаровские жулики.

Но больше всего легенд связано со смертью Михаила Андреевича Достоевского. Память народная избирательна: вот зацепится в сознании одного человека какая-то деталь – яркая, необычная... и пошло-поехало, сотни вариантов одного такого рассказа будут храниться, украшаться новыми деталями. И никакими фактами этих мифов уже не опровергнуть. Слушая местных жителей, мы часто вспоминали двух гоголевских героинь из «Ночи перед Рождеством», которые вели жаркий спор: повесился кузнец Вакула или утопился?

Можно ли сегодня отделить миф от реальности? Отец писателя, Михаил Андреевич Достоевский, бесспорно, человеком был весьма достойным: он

происходил из старого дворянского рода, позже утратившего дворянство. «Он рано покинул отцовский дом, уехал в Москву и поступил, как значится в его «Послужном списке», «казенным воспитанником» в Медико-хирургическую академию. Он вышел из академии студентом 4-ого курса в 1812 году. <...> Восемь лет военной службы были связаны с госпиталями (Касимовским, в Бородинском пехотном полку), выездами на борьбу с эпидемиями; наконец, женившись в Москве на Марии Фёдоровне Нечаевой, поступил в московскую больницу для бедных, где прослужил почти до смерти шестнадцать лет».<sup>3</sup> Служба Михаила Андреевича была отмечена наградами: «В 1825 г. получил орд. Св. Анны 3 ст. В 1829 г. орд. Св. Владимира 4 ст. В 1832 г. орд. Св. Анны 2 ст. В 1837 г. орд. Св. Станислава 3 ст.».<sup>4</sup>

Официальная версия смерти отца писателя – апоплексический удар. Но есть и неофициальная: смерть насильственная, помещик был убит собственными крестьянами, хотя удар у Михаила Андреевича был уже не первый.

Михаил Андреевич Достоевский умер в 1839 году, а ровно через сто лет, в 1939, выйдет книга В. С. Нечаевой «В семье и усадьбе Достоевских». Её автор записала рассказы крестьян, внуков тех крепостных М. А. Достоевского, которые были якобы причастны к этому страшному событию. Приведём один из них: «Черемошинские мужики задумали с ним (М. А. Достоевским. – Т. К.) кончить. Сговорились между собой – Ефимов, Михайлов, Исаев да Василий Никитин. <...> Петровками, о сю пору, навоз мужики возили. Солнце уже высоко стояло, барин спрашивает, все ли выехали на работу? Ему говорят, что из Черемошни четверо не поехали, сказались больными. “Вот я их вылечу” – велел дрожки заложить. А у него палка вот какая была. Приехал, а мужики уже стояли на улице. “Что не едете?” – “Мочи, – говорят, – нет”. Он их палкой, одного, другого. Они во двор, он за ними. Там Василий Никитин – здоровый, высокий такой был, его сзади за руку схватил, а другие стоят, испугались. Василий им

крикнул; «Что же стоите? Зачем сговаривались?» Мужики бросились, рот барину заткнули, да за нужное место, чтоб следов никаких не было. Потом вывезли, свалив в поле, на дороге из Черемошны в Даровое».<sup>5</sup>

Вот таким и сохранился образ этого человека в народной памяти. «Плохой, жестокий, жуткий!» В Даровом, Черемошне и Моногарове вам расскажут самые разнообразные версии убийства М. А. Достоевского. Постоянным в них является лишь факт насильственной смерти – место, причины, способ, орудия убийства варьируются.

«Отец Достоевского был жестокий, крестьян бил. Держал, как говорят, на коротком поводке. За это и поплатился. Его повесили в лесу. Он девочек молодых обижал – за это его и наказали. За Черемошной в лесу его и повесили», – Нина Терентьевна Чухнина слышала эту историю от своей бабушки – Марины Сергеевны Широковой, которая была экономкой у племянницы Достоевского Марии Александровны Ивановой.

«Барин был жестокий человек. Если крестьянин провинился – на конюшню пороть. Крестьяне ожесточились, сговорились между собой. Оставили в конюшне под крайней кормушкой навоз, а он следил за чистотой – старый барин! Как обычно, приходит на конюшню: – Что такое? – Подбегает старший конюх: – Не вижу! – Тогда барин нагнулся: – Вот, вот... – Старший конюх набросился на барина, начал душить, а барин был жилистый, никак старший конюх с ним не справится. Мужики же боятся подойти. Старший конюх кричит: – Если вы мне не поможете – я сейчас барина удушю и вас всех потом перебью.

Ну, тут все набросились, барина убили, задушили. Барин посинел. Что делать? Посадили его в коляску, налили ему в рот вина (бабушка не знала: порозовели у него щеки или нет) и отвезли километра за два, на Черемошинское поле, там и бросили. Старший конюх всем руководил», – эту историю мы слышали от Леонида Еремина, чьё детство прошло в Даровом. Ему её

рассказывала бабушка – Евдокия Алексеевна Копцова.

«Отец Достоевского был жестоким, поляк был, порол девушек, сожительствовавал. А крестьяне сговорились, одни из Дарового, другие из Черемошни. Ему в рот насильно влили спирт, горло заткнули и привезли в поле на перекресток. А попу сказали, что с баринком случился удар. Родственники не стали затевать судебное дело, чтобы не позориться», – этот рассказ мы слышали от старшей жительницы Дарового Клавдии Петровны Романцовой.

Мария Михайловна Ксенофонтова тоже с детства слышала историю смерти барина: «Плохой, жестокий, жуткий! Его наши удавили, давношные, мы уж не помнили их. Они ему чего-то напихали в рот. Был он жестокий-прежестокий. Ловил, когда в лес ходили». Любопытно, но дедушка Марии Михайловны Ксенофонтовой, Иван Васильевич Мелехов, в воспоминаниях, вошедших в книгу Нечаевой, рассказывает почти официальную версию смерти барина, которая отличается от рассказов остальных крестьян: «Барин ехал на дрожках по дороге из Дарового в Черемошну, с ним сделался удар, кучер его оставил в поле и поскакал за священником в Моногарово. Приехавшие следователи полмесяца жили в деревне, всех поодиночке опрашивали, детям конфет давали, но ничего подозрительного не нашли».<sup>6</sup> Нечаева делала эти записи в 20-е годы XX века, и мы видим, как в пределах одной семьи за неполный век изменилась память об этом уже легендарном событии. Конечно, в послереволюционное время версия об убийстве жестокого барина крестьянами воспринималась как ещё одно доказательство справедливого народного гнева, который кипел веками. И если до появления книги Нечаевой местные жители излагали и официальную, и неофициальную версии (об этом свидетельствуют их опубликованные показания), то после публикации воспоминаний крестьян версия насильственной смерти помещика Достоевского в среде местных жителей стала единственной. И чем моложе человек, рассказывающий эту легенду, тем больше в

ней пикантных подробностей, взятых из современных ужасиков.

Получается, что современные легенды о смерти Достоевского имеют отчасти литературное происхождение. Убедительным представляется объяснение открытия факта насильственной смерти, идущее от А. М. Достоевского, брата писателя, причин, по которым даже родным убиенного было невыгодно признать факт насильственной смерти: сошлют всех черемошинских мужиков на каторгу – хозяйство будет совсем разорено. Очевидно, факты такого сокрытия насильственной смерти часто встречались в российской действительности, ведь один из них приведен даже в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души», известной огромной силой художественной типизации. Так, описывая в 9 главе 1 тома бунт казенных крестьян Вшивой-спеси, Боровков и Задирайлова тож, автор рассказывает о насильственной смерти некоего Дробяжкина – «земской полиции», который, «имея кое-какие слабости со стороны сердечной, приглядывался на баб и деревенских девок». А дальше у Гоголя, как в рассказах жителей Дарового и Черемошни: «...дело было тёмно, земскую полицию нашли на дороге... дело ходило по судам и поступило наконец в палату, где было сначала рассуждено в таком смысле: так как неизвестно, кто именно из крестьян участвовал, а всех их много, Дробяжкин же человек мертвый, стало быть ему немного в том проку, если бы даже он и выиграл дело, а мужики были ещё живы, стало быть для них весьма важно решение в их пользу... а умер-де он, возвращаясь в санях, от апоплексического удара». Вот вам готовое объяснение событий. И написано это спустя 3 года после смерти М. А. Достоевского, в 1842 году!

Почти все местные жители убеждены, что старый барин (так в Даровом и Моногарове и сейчас называют отца писателя) похоронен на старом Славянском кладбище, которое находится рядом с Поповой рощей. Там когда-то была часовня. Сейчас это окруженная полями роща, совершенно заросшая, дремучая, непролазная. В чащу её можно проникнуть какими-то звериными

тропами. Кое-где видны вросшие в землю могильные плиты когда-то белого камня. До XX века это кладбище было Даровским с одной стороны, Комовским – с другой. «Там была деревянная церковь, вроде часовни. Мне об этом рассказывала бабушка Домна Григорьевна Чухнина, – говорит Клавдия Петровна Романцова, – отец Достоевского похоронен там, на старом кладбище». Этой же версии придерживается и зарайский краевед Владимир Иванович Полянчев: «Михаил Андреевич Достоевский, его дочь Вера Михайловна, его внебрачный сын, и племянницы писателя похоронены на старом кладбище, которое действовало до 23-го года. Все старожилы были так убеждены. Место расположения часовни можно легко определить. У меня есть план, где отмечены все сохранившиеся могилы».

На новом Моногаровском кладбище, по свидетельству местных жителей, стали хоронить с 20-х годов XX века и, скорее всего, там была похоронена последняя хозяйка Дарового – племянница писателя Мария Александровна Иванова, умершая в 1926 году.

Если память народная сохранила негативный облик отца писателя, то о племянницах Ф. М. Достоевского местные жители вспоминают с необыкновенной теплотой. Ольга Александровна Иванова несколько лет жила в Черемошне, где учительствовала. «Такая добрая женщина была, – вспоминает М. М. Ксенофонтова, когда-то посещавшая её занятия, – умница-преумница, таких мало, она всему учила нас. Была подстрижена под мальчика. Простые люди были. У нас школы не было, но тётя Аксюша пускала. Ольга Александровна всегда бедных выручала. У нас магазина не было, чернила и тетради покупали в Алферьеве, а бедным она сама обязательно покупала. Бывало, пойдем в лес, соберём орехи, продадим, а потом на эти деньги что-нибудь купим. У нас много бедных было. И маму нашу выручала, когда денег не было, и других: кому брюки купит, кому рубашку, кому что. Они с Юлией Александровной жили в доме у Гаврилы с Катериной. Наша мама была очень аккуратная, они у неё

молоко покупали, маслице. И Марии Александровне мама носила творог, пирожком таким. И мы с ними ходили. Добрые люди были – обязательно накормят. А ещё у Марии Александровны был большой граммофон – нам включали послушать, у нас-то сроду такого не было. Добрые были племянницы. Потом, говорили, что Ольга Александровна уехала в Брянск к падчерице<sup>7</sup>, а Марья Александровна похоронена на старом кладбище рядом с Поповой рощей».

Клавдия Петровна Романцова водила нас на Ново-Моногаровское кладбище и показывала плиту, под которой, по её мнению, покоится прах племянницы великого писателя – Марии Александровны Ивановой, последней владелицы Дарового. «Простые они были – Мария Александровна и Ольга Александровна. Мама моя им пенсию из Зарайска носила, они всегда в дом приглашали, конфетами угощали. Они собирали по вечерам мужиков и учили их грамоте».

Нина Терентьевна Чухнина несколько лет назад подарила музею мебель, доставшуюся ей от матери, которая была крестницей Марии Александровны Ивановой: «Мама в 1925 году выходила замуж, и Мария Александровна дала ей приданое – сундук, гардероб, посуду, шкаф, этажерки. Мне мама приблизительно показывала, где на старом кладбище похоронены отец Достоевского, его внебрачный ребенок. А Мария Александровна похоронена на новом Моногаровском кладбище, другие же сестры здесь не похоронены». На вопрос, слышала ли она раньше, что отец Достоевского мог быть похоронен у Моногаровской церкви, женщина решительно ответила: «Нет! И мама, и бабушка говорили, что он похоронен на старом кладбище. Даже разговора я такого не слышала. Когда я была маленькой девочкой, мы часто бегали к церкви, там было много надгробий, но про Достоевского мы не слышали».

Почему же так единодушны все местные жители в определении места захоронения отца Достоевского? Почему никто из них даже не обмолвился о возможном

захоронении у Моногаровской церкви?

А ведь храм Сошествия Святого Духа когда-то был окружен кладбищем, которое тоже было уничтожено, разграблено: могильные плиты использовались жителями Моногарова для хозяйственных нужд. Страшные следы этого кощунства остались до сих пор: в одном из сельских огородов валяется такое надгробие. Кстати, именно у Моногаровской церкви мы сделали очень интересную находку: в овраге за церковью мы нашли прекрасно сохранившееся надгробие из черного мрамора с четкой надписью: Мельгунов Иван Николаевич (1845 – 1901). В окрестностях Дарового, в сторону от Черемошни есть местность, которую жители до сих пор называют Мельгуново поле. Оно расположено на пути из Черемошни в Назарьево. И вот из рассказа жительницы Черемошни Марии Михайловны Ксенофоновой мы узнаем, что в Назарьево жил «добрый барин» Мельгунов.. Народная память, очевидно, совершенно произвольно сместила временные границы: женщина сравнивала «барина Достоевского» (отца писателя – *Т. К.*) и «барина Мельгунова», жизни которых хронологически не могли совпасть, как «зверья» («плохой, жестокий, жуткий») и «доброе» («лучше не было Мельгунова»). О «доброе» барине Мельгунове нам рассказывали и жительницы деревни Назарьево Анна Варфоломеевна Воробьева и Анастасия Анисимовна Капитонова. От своих предков они слышали, что барин был хороший, платил работникам хорошо, школу земскую построил: «Когда была революция, его дом сожгли, а самого барина не тронули». Здесь мы опять встретились с произвольным смещением целых пластов истории. Приведем продолжение этого рассказа: «Про Достоевского же говорили, что он был жестокий, грубый, и его мужики черемошинские убили. Лес такой есть – Беичево. Там в «голове» (это поляна такая в конце леса) его и убили. А Мельгунов потом уехал в Рязань, там работал в институте. И звали его Владимир Иванович». Бесспорно, речь здесь идет уже о другом Мельгунове, сыне того, что покоится у Моногаровской

церкви.

История «барина Мельгунова», закрепившаяся в народном сознании, очень противоречива. Очевидно, она уже превратилась в своеобразную легенду, в силу своей драматической основы: от «добротного барина» Мельгунова удавилась в лесу молодая девушка Катя из деревни Дмитровки. «Мы боялись ходить в этот лес, там до сих пор есть дуб Кати-удавленницы, – вспоминает М. М. Ксенофонтова, – мне про этот дуб мама рассказывала, а она была с 1883 года». Нам пока не удалось проверить достоверность этой легенды, хотя бы приблизительно установить время её возникновения. Если она рождена событиями первой половины или середины XIX века, то ситуация «добротного барина и девочки-удавленницы», встречающаяся в романах Достоевского («Преступление и наказание», «Бесы») может быть отголоском этих реальных событий.

Вообще в повседневной жизни Дарового, Моногарова, Черемошни до сих пор встречаются какие-то обычаи, проявления чувств, которые, как нам показалось, хранят память времени детства Достоевского. Еще одна наша находка не принадлежит к разряду материальных. В Черемошне и Моногарове мы обратили внимание на необычное, с точки зрения современного человека, оформление чувства умиления. Но тем, кто знаком с творчеством Достоевского, странным оно не покажется. Речь идет о целовании руки. Как тут не вспомнить страницы «Идиота», «Братьев Карамазовых»? Но две пожилые женщины, явно никогда не читавшие Достоевского, совершили это абсолютно произвольно. Жительница Черемошни, растроганная прощанием со студентами, неожиданно сказала: «Дочка, дай я хоть ручку-то твою поцелую!» Спустя несколько дней, уже при совершенно других обстоятельствах (у нас было что-то вроде посиделок, когда студенты вместе со старожилками пели народные песни) другая пожилая женщина из Моногарова тоже в порыве умиления, но уже молча повторила то же самое. Конечно, мы не могли сразу же задавать женщинам какие-

то вопросы, пытаться выяснить происхождение этих жестов, которые, может быть, уходят корнями очень глубоко.

Как отличить сказку от были? Мы часто задавались этим вопросом, потому что слышали от местных жителей много историй о чудесных кладах, таинственных захоронениях, мистических видениях. Иногда казалось, что фольклор творится на глазах наших: вот житель средних лет рассказывает нам о странном огне, который часто горит в Миленином лесу: всё вокруг горит, а потом вдруг исчезает этот загадочный огонь! А рядом сидят ребятишки и слушают эти рассказы и потом когда-нибудь повторят их, если зацепятся эти легенды в их памяти. А вот местный старожил объясняет нам происхождение названия реки Кощейки: «На дне её жил царь Кощей и хранил он несметные богатства, клады». Местные жители убеждены, что деревня их очень древняя. Один из них рассказывал нам, что слышал от бабушки, как ещё до революции нашли в Даровом клад серебряных чешуйчатых монет: «Когда пахали, разбили кувшин, только горлышко осталось, сам он разбился. Соседка ходила по огороду с решетом и собирала монеты». Ходила по деревням легенда, будто какого-то священника погребли с огромным золотым крестом. В Даровом нам рассказали, будто однажды на старом кладбище разрыли старую могилу, «видимо, этот крест искали». В Моногарове мы слышали про усыпальницу священников, которая была под самим храмом: «Одного священника там похоронили с большим золотым крестом...»

Конечно, среди этих рассказов мы встречали и откровенные домыслы: «Помню-помню, стояли надгробия у церкви и среди них огромный памятник, на котором написано – Достоевский!» А кто-то из местных жителей откровенно признавался, что раньше вообще про Достоевского ничего не слыхали. Кто-то говорил с сожалением: «Если бы знали раньше, что Достоевский – великий писатель, обязательно бы расспросили бабушек и дедушек о прошлой жизни! Кто ж знал, что теперь все им заинтересуются!»

Это время пришло. Только нужно, чтобы идеей возрождения Дарового заинтересовались не только местные власти, чей бюджет ограничен. Восстановление родового имения Достоевского – дело общероссийское! Только когда же она, власть эта, поймет, что должны мы «уважать минувшее» и этим уважением отличаться от вековой дикости?

Даровое – удивительное место... Чем-то притягивает эта земля, та мифопоэтическая атмосфера, которая связана уже не только с несколькими годами пребывания на ней Фёдора Михайловича Достоевского, но и с той памятью, которая хранится уже почти два века. Может быть, поэтому некоторые студенты через год поехали работать в Даровое уже не «за практику», а «за идею». Думаю, каждый из студентов, поработавший в Даровом, не просто понял, а прочувствовал слова Достоевского, посвященные его родным местам: «...ничего в жизни я так не люблю, как лес с его грибами и дикими ягодами, с его букашками и птичками, ёжиками и белками, с его, столь любимым мною, сырым запахом перетлевших листьев. И теперь даже, когда я пишу это, мне так и послышался запах нашего деревенского березняка: впечатления эти остаются на всю жизнь».<sup>8</sup>

PS. Летом 2005 года в Даровом проходили археологические работы, которые позволили собрать интересный материал об истории

имения. В августе того же года около храма Сошествия Святого духа в Моногарове был поставлен памятный крест и обозначено место предполагаемого захоронения отца великого писателя – Михаила Андреевича Достоевского. Профессор кафедры литературы Владимир Александрович Викторovich нашел точное подтверждение в архивах брата писателя, Андрея Михайловича Достоевского, факта захоронения его отца на погосте Моногаровской церкви. Может быть, с этого и начнется новая страница жизни Дарового, его превращение в настоящий музей-заповедник, который, бесспорно, станет местом паломничества ценителей творчества Достоевского.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Полянцев В. И. Зарайская энциклопедия. М., 1995. С. 82.

<sup>2</sup> Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1877.

<sup>3</sup> Пономарёва Г. Музей-квартира Ф. М. Достоевского в Москве. М., 2002. С.61 – 62.

<sup>4</sup> Там же. С. 62.

<sup>5</sup> Нечаева В. С. В семье и усадьбе Достоевских. М., 1939. С. 53 – 54

<sup>6</sup> Там же. С. 52

<sup>7</sup> По свидетельству внучатой племянницы О. А. Ивановой, Веры Ивановны Михневич, Ольга Александровна переселилась в Коломну, где и умерла в 1941 году в возрасте 86 лет. См. об этом: Коган Г. Ф. Письма из Коломны // Литературные мелочи прошлого тысячелетия. Коломна, 2001. С.140.

<sup>8</sup> Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1876.

## ТРАДИЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В ДАРОВОМ И ОКРЕСТНОСТЯХ (ПО МАТЕРИАЛАМ ФОЛЬКЛОРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В ИЮЛЕ 2006 г.)

Родина писателя издавна притягивает к себе внимание исследователей литературы. Как известно, Гете принадлежит афоризм:

Wer den Dichter will verstehen,  
Muss in Dichter's Lande gehen.

Представление о заданности творчества писателя историей его родины остается до сих пор. Цель настоящей экспедиции заключалась, прежде всего, в системном исследовании фольклорного репертуара жителей с. Даровое и его окрестностей. При этом мы учитывали и этнографические особенности изучаемых объектов.

Жилища обитателей изучаемых сел представляют собой тип южнорусских крестьянских изб. Как правило, они двухчастны. Правая половина от входа представляет собой деревянный сруб. Он используется в качестве зимнего жилья. Традиционно он делится на три части: залу, спальню и кухню. Перегородки не доходят до верха. Главным элементом композиционного членения является печь. В то же время левая половина одночастная, является мазанкой и используется в летнее время.

Наиболее заметным объектом горницы или залы является «красный угол», где обычно размещаются иконы. Однако, рядом с «красным углом» помещаются и рамки (нередко всего лишь – одна большая рама) с фотографиями близких родственников. «Коллажная» композиция внутри рамок и самих рамок относительно стены является частью эстетической организации пространства и не воспринимается обитателями как непорядок, который надобно устранить.

Летняя, мазаная, часть – просторное помещение, где находится русская печь. В теплое время на ней готовят пищу. Здесь же хранятся запасы продуктов и вещей, уложенные в сундуки. Вход в сени может быть прикрыт застекленной верандой,

которая тоже служит в качестве летнего жилого помещения.

Снаружи дома размещены хозяйственные постройки: сарай, баня, скотный двор, не соединенные переходами. Кроме типичного жилья, можно встретить коттеджи, и дома, характерные для более северных местностей.

Традиционный репертуар информантов отличается своеобразным «достоевскоцентризмом». Почти каждый из них старается установить степень причастности своего рода к семье великого писателя. Нам постоянно приходилось слышать рассказы о том, что бабушка или прабабушка были служанками в семье Достоевских.

«Моя мама здесь родилась, – рассказывает Нина Терентьевна Ростовцева. – Отсюда она замуж выходила. Марья Александровна ей была посаженной матерью. Марья Алексанна дала ей в приданое что-то»<sup>1</sup>... Или, уже от другой информантки: «Это у моей мамы была мама – Мелехова Елена Платонна. Она ходила туда к Марье Алексевне, Ольге Алексевне.<sup>2</sup> Она ходила к ним. Работала. Помогала по хозяйству. У нашей Елены Платонны все Достоевские брали молочные продукты. Считали, что самые вкусные. Самая чистая женщина в этой деревне. Вот они и масло, и молоко... Все-все-все бабушка делала. К ним в имение носила»...

Интересно, что даже в случае невозможности напрямую связать историю своего рода с историей рода Достоевских, имя писателя все равно так или иначе звучит в фиксируемых преданиях. Настоятель храма в с. Моногарове о. Григорий Решетов свидетельствует, что в селе Федоровка, откуда родом он сам, «название деревни Федоровка <жителями> связано с именем Ф. М. Достоевского. Каким боком – не объясняется, но вот таким образом».

Достаточно устойчиво фиксируются

предания о смерти отца писателя. При этом, как следует из них, Михаил Андреевич был задушен крестьянами. Иногда уточняется: сначала его напоили, а потом и задушили. Версий о естественной смерти в активном бытовании обнаружить не удалось, хотя они хорошо известны всем информантам по книгам. Как говорит Нина Васильевна Мелехова: «Вот у нас еще об отце его есть память. Где наши деревенские старинные мужики в Поповом лесу задушили его. Это не бль, а настоящая правда». На наш вопрос, откуда это известно, рассказчица утверждает: «Это передается». Интересно, что она даже быличку связывает с именем Достоевского: «По Достоевскому-то у нас Груша Удавленница. В каком она – в «Карамазове» что ли? В каком романе-то? Я уж забыла. Мы когда в школу ходили, нам говорили: смотрите, не ходите туда, там Груша Удавленница на дубочке прям. Ну, мы-то не видали никого, конечно. Именно пугали. Детей вот именно. Пойдете – Груша Удавленница за вами припустится. Когда темно бывало, говорили: А-а-а, иди-иди. Сейчас Груша прибежит. Щас покажет. Или чё-то сделает».

Предания, связанные с семьей Достоевских записывались неоднократно, в том числе и сотрудниками нашей кафедры А. П. Радищевым с коломенскими школьниками и студентами в конце 1940-х гг.<sup>3</sup> и Т. И. Кондратовой вместе со студентами филфака в последние годы. Поэтому мы сочли наиболее важным постараться зафиксировать собственно фольклорный фон Дарового. При этом следует сказать, что прямая экстраполяция собранного материала на период жизни Ф. М. Достоевского явно не годится. Ибо далеко не все из отмеченных сейчас произведений бытовали в середине XIX века<sup>4</sup>, а бытовавшие тогда сейчас уже не известны<sup>5</sup>.

Отметим, что ряд легенд хорошо укоренены в структуре русского фольклора. Например: «... где стоит сейчас церковь – это Новый Спас. Да и деревня сама называлась Спас-на-Журавне. Деревня сама располагалась, начиная от церкви и за речкой. Тот край. А Старый Спас – там, где

стояла старая церковь, деревянная, оно в другом месте, где карьер... Там высокий берег и бытует тоже легенда, что <церковь> ушла в песок, но скорее всего, повалилась просто. Берег песчаный и крутой, не удивительно, что она не сохранилась...

– Жители как-то объясняют, почему ушла под землю?

– Объяснения никакого нет<sup>6</sup>.

Или:

« – Вообще-то церковь была, вон там.

– Вообще-то. Вот она уже ушла.

– Под землю?

– Да

– А почему она ушла под землю?

– Не знаю почему. Может, вода смыла<sup>7</sup>.

Мы видим, что хорошо известная фабула оказывается сильно редуцированной за счет утраты мотивационного финала. Однако информанты пытаются её восстановить за счет своего представления о происшедшем событии. Но в живой традиции эти финалы уже не остались.

Наиболее устойчиво сохраняются воспоминания об уже утраченных в живом бытовании церковных, календарных и семейных обрядах. Достаточно часто вспоминаются троицкие обряды. При этом интересно, что «кормление березки яичницей» в Даровом не связывается с этим обрядом, но происходит на «красную горку»: «Яишницу мы делали на “красную горку”. Но, по-моему, на “красную горку”. Ходили в лес, тоже в этот лесочек, брали сковороды большие, чугунные. Так вот мы ходили туда в лес, у нас так было...», – рассказала Н. В. Мелехова. Вероятно, произошло совмещение игры «катание яиц с горы», распространенное в России повсеместно на красную горку, с троицкими играми в березовой роще, где яйца фигурировали в виде яичницы. В Даровом же в рощу на красную горку не ходили, но яичницу делали на всю деревню в специально избранной избе.

От Анны Варфоломеевны Воробьевой мы услышали редкий рассказ о гулянии в роще:

« – В рощу ходили на праздники?

– Ходили. Я не знаю на какой, праздник, Егорьев день што ля. Вясной бываить.

Сестра нари<sup>е</sup>жалася вот. В липу. А плясала всё.

– Как в липу наряжалась?

– Ну, в листья. Прямо на руки – ветки. Везде ей накрутили веток.<sup>8</sup> Это. Липовых. Все плясали тут, гармонь играла».

Полное соответствие этому обычаю удалось найти лишь среди мордовских обрядов: «Во время проводов весны, на Троицу, парни и девушки уходили в лес и наряжались в костюмы из веток клена, липы.

Во время осмотра жилищ мы отметили, что рядом с домами в Даровом и окрестных селах посажены липы и ели. В то время как в более северных районах Подмосковья – береза и ель. Следовательно, липа в рассказе нашей информантки и в обрядах жителей с. Назарьево, замещает более известную в Центральной России березу. Как известно, девушка, носящая на Троицу срубленную березу или танцующая, держась за ствол этого дерева, обозначалась словом «березка».<sup>9</sup>

Из числа своеобразных обычаев, далеко не везде фиксируемых, отметим купание молодоженов в пруду.

« – Идешь через пруд – щас – кого пихни в пруд. Тебя толкнут, искупают. А молодожен обязательно.

– Почему?

– Да обычай такой был».<sup>10</sup>

Можно предположить, что перед нами трансформированный обряд ритуального омовения молодоженов после первой брачной ночи. В изучаемом регионе он в своем обычном виде не фиксируется. Тем не менее, память о нем могла сохраниться.

Столь же отчетливо припоминаются и обряды, связанные со святками. Прежде всего, следует отметить обряд ряжения. При этом практически все информанты хорошо помнят, что оно, как и на второй день свадьбы, связано с ритуальной «переменой пола» и «переменой возраста»: юноши рядились в женские одежды, часто изображая старух. А девушки, наоборот, в мужское платье, изображая стариков.

Среди записанных поэтических материалов отметим «Авсень»:

«Авсень, Авсень

Ходил по всем.

Шел по дорожке –

нашел железку.

Пошел в кузню –

сделал топорик.

Пошел в лесок –

срубил кли<sup>е</sup>нок.

Намостил мосточек

трем братцам родимым.

Первому братцу –

Рождество Нового Года<sup>11</sup>

Второму братцу –

Рождество Христово.

Третьему братцу –

Крещение Христово.

Не дадите пирога –

мы корову за рога.

Не дадите пышку –

свинью за лодыжку.

Не дадите хлеба –

мы утащим деда.

Не дадите нам кишок –

мы хозяина в мешок.

Вот, кто давал нам чевой-то хорошево...  
Все давали: “Доброго здоровья, с праздником  
вам чевой-то”.

А кто не давал. Были у нас тут такие.  
Жадные:

Под Новый год –

дубовый гроб»<sup>12</sup>.

Отметим, что тремя братцами языческого Авсень называются христианские праздники, которые персонифицируются и становятся фольклорными персонажами.

Однако повсеместно отмечается и то обстоятельство, что обычаи колядования уже неизвестны молодежи:

« – А вы вот не помните, во времена  
вашей молодости святки отмечались?

– Отмечались.

– Колядовали, да?

– Да.

– Щас не колядуют. Тогда больше  
колядовали.

– Больше колядовали?

– Конечно.

– А как это делали?

– Ну, наряжались, в гармонь играли, пели.

– А вот как наряжались?

– Панёвы. Эти. Надевали. Были юбки.

– А панёвы, это что такое?

– Ну, в этих. Как их. В Рязанях<sup>13</sup>. Там в таких в старости ходили<sup>14</sup>».

Как видим, наши собеседницы уже не связывают колядование с современностью. А так как современные жители Журавны представляются пришлыми (новыми), то и сам этот обряд не связывают уже с Журавной, но с далекими «Рязанями» – местами детства и юности.

Четко выделяются и обряды, связанные со свадьбой. Все информанты указывают на её двухчастную композицию: первый день – гулянье в доме жениха. Второй – в доме невесты. Это правило не было непреложным. В случае если жених или невеста были бедными, вся свадьба игралась только в одном доме. К тому же если родители молодых были исключительно богаты, то свадебные торжества продолжались целых три дня. Причем третий день празднование проходило в одной из семей по обоюдной договоренности.

Обязательным атрибутом свадьбы была телега или сани, запряженные парой лошадей. Естественно, что бедные обходились одной лошадей. Случаи катания молодых на тройке информанты не припоминали. Хотя говорят, что если б такое было, это означало бы очень пышную свадьбу. Лошади украшались бубенцами, «колокольцами»<sup>15</sup>, цветными лентами. В первый день, как и повсеместно, гостей «обыгрывали». На второй день появлялись ряженые, которые и шли будить молодоженов:

« – А как это рядились-то?

– В милиционера. Медсестрой.

– А почему медсестра?

– Брачная ночь-то была.

– Проверяли что ли?

– Нет, не проверяли, знали то. Ну, кому плохо станет<sup>16</sup>.

– Ну, пастух был.

– А пастух для чего?

– Ну, милиционер, пастух.

– А зачем?

– Ну, вроде украли. Да-и и ищут, ищут<sup>17</sup>»

«Похищенная» невеста называлась

«яркой»: «У мене вот, когда я второй раз замуж-то выходила, пришли и говорят: “У нас пропала ярка (ну невеста – это ярка). А ягнок плачет”. У мене дочка была, это ягнок значить. Значить это. Искали ярку. Ну, ищуть, ищуть. Схоронют её куда-нибудь – найдуть, и ягнок замолчал, матерю нашли. Ведь это же присказки»<sup>18</sup>. Последнее утверждение показывает, что носителями традициями прекрасно осознан игровой характер действия, о чем в дальнейшем достаточно подробно рассказала и А. В. Воробьева.

При этом на второй день ряженые поют особые частушки. Иногда их называют «матные» или хулиганские:

« – Вы матные частушки знаете?

– Ой, я очень много знаю. Но не знаю, какую петь.

– На свадьбу что поют?

– Это надо хулиганские. Ну вас на фиг. Вы мене ещё опозорите»<sup>19</sup>.

Так полностью подтверждается наблюдение, сделанное в начале прошлого столетия Е. Н. Елеонской в Можайском уезде о пении на второй день свадьбы так называемых «охальных» песен. По сравнению с хулиганскими частушками, «охальные» песни, собранные Елеонской<sup>20</sup>, представляются более архаичными. При этом информанты без соответствующего вопроса даже не пытались рассказать о существовании подобных частушек. Ответы мы получали лишь на прямые вопросы, а тексты так никто и не пересказал. Елеонская, в своё время, отмечала, что «охальные» песни никогда не исполнялись в присутствии незамужних девушек. Как видим, традиционная народная этика достаточно устойчива, сохраняясь если не в поведении, то уж, во всяком случае, в представлении о нормативности или ненормативности своего поведения.

Дальнейшее исследование может предусматривать изучение традиции записанных рассказов. В ряде случаев было бы интересно установить их этническое происхождение. Тем более что сохранились семейные предания то о выселении непослушных крестьян барамы в

Черемошню, то о происхождении рода от семьи, обменной на стаю борзых собак.

Вероятно, есть смысл продолжить типологическое исследование легенд о детстве писателя и членов его семьи.

Бесспорно, остаётся актуальным дальнейшая запись полевого материала и видеофиксация рассказчиков и этнографического материала в живом бытовании.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Здесь и далее используются материалы расшифрованной фонограммы. Запись сделана 3 – 8 июля 2006 г. студентками филологического факультета КГПИ Ю. Приймак, Е. Попковой, В. Климановой, Е. Самсоновой, И. Ивановой, Е. Стракис и Ю. Федоровой под рук. доц. С. М. Прохорова.

<sup>2</sup> В обоих случаях – ошибка: должно быть Александровна, но информантка, вероятно, так запомнила рассказ бабушки. Во всяком случае, другие варианты отчеств ею не назывались.

<sup>3</sup> К сожалению, самих записей найти не удалось, но автор этих строк слышал о них неоднократно от самого А. П. Радищева. В хранящемся у меня походном дневнике А. П. Радищева есть только отрывочные записи, не связанные с Даровым.

<sup>4</sup> Так, записанная нами песня «За грибами в лес девицы» – произведение А. Е. Разоренова и не фиксируется в XIX веке.

<sup>5</sup> Постоянно приходится слышать сетования на то, что песни бабушек уже забылись.

<sup>6</sup> Из разговора с о. Григорием Решетовым.

<sup>7</sup> Из разговора у магазина в Журавне с Г. М. Коноваловой и Клавдией Николаевной.

<sup>8</sup> Жестами она показывает, что ветками сестре прикрывали голову, груди, живот.

<sup>9</sup> *Любимова Г. В.* К вопросу о статусе переходных обрядов в восточнославянской культурной традиции // Ресурс:

<http://www.sati.archaeology.nsc.ru/Home/pub/Data/?html=dominanta.htm&id=623>

<sup>10</sup> А. М. Захарова и Г. М. Коновалова, Журавна.

<sup>11</sup> Несогласованность грамматических форм хорошо фиксируется в исполнении сказительницы.

<sup>12</sup> Н.В. Мелехова, д. Чермошня.

<sup>13</sup> Наша информантка, Г. М. Коновалова, родом из Рязанской области. И хотя уже не одно десятилетие живет в Журавне, часто обращается к воспоминаниям, связанным с Рязанью.

<sup>14</sup> Из разговора у магазина в Журавне с Г. М. Коноваловой и Клавдией Николаевной.

<sup>15</sup> К. П. Романцова. Ср. в стихотворении П. А. Радимова: «С колокольцем дуга».

<sup>16</sup> Имеются в виду жених или невеста. Вообще этот эпизод рассказывался как довольно пикантная шутка. – С.П.

<sup>17</sup> А. М. Захарова и Г. М. Коновалова, Журавна.

<sup>18</sup> А. В. Воробьева, с. Назарьево.

<sup>19</sup> А. В. Воробьева.

<sup>20</sup> *Елеонская Е. Н.* Сказка, заговор и колдовство в России. Сборник трудов. М., 1994. С. 206 – 207.

## АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ ДОСТОЕВСКИХ «ДАРОВОЕ»

«Поздняя археология» в отечественной науке в последнее время превращается во все более «модное» направление. Все чаще и чаще коллеги обращаются к исследованиям объектов, на которые раньше, еще 10 – 15 лет назад, никто не обратил бы внимания или исследовал бы с помощью экскаваторного ковша. И если раскопки поздних объектов первоначально были распространены в основном в северных районах страны – таковы, например, работы В. Ф. Старкова, П. В. Боярского и других исследователей (в качестве примера: «Русские морские экспедиции ...»; Боярский, 1996; «Новая Земля...»; Старков и др., 2002), то в последние годы активно исследуются позднейшие памятники и в Центральной России (Полюлях, 2000; Сыроватко, Панченко, 2002; «Охранные исследования ц. Вознесения ...»). Известно и несколько прецедентов раскопок русских усадеб XIX столетия – усадьбы Пушкиных в Болдино и Добролюбова в Нижнем Новгороде (Черников, 1990; 2002; Кагоров, 1988; Кармазина, 1985). Дискуссия на страницах журнала «Российская археология» продемонстрировала интерес к «поздней археологии» как явлению вообще («Археология позднего периода ...»). И хотя немалое число выступлений было панегирического толка (сводящихся в итоге к лозунгу «это тоже наука!»), очевидной остается неоднозначная оценка научным сообществом этого явления, проявившаяся на том же «круглом столе». Главная проблема, на наш взгляд, заключается в отсутствии четко сформулированных задач, предъявляемых к археологическому материалу. И без того девальвированный временем (ведь нельзя же всерьез ставить знак равенства между информативностью сетчатого черепка и стеклянной бутылки), этот материал остается по существу не востребован именно археологами и

историками, поскольку – и это опять-таки следует из материалов «круглого стола», его накопление не привело к новому уровню знаний об изучаемой эпохе.

Экспедиции «Коломенского археологического центра» пришлось провести работы на памятнике Новейшего времени – территории музея-усадьбы Ф. М. Достоевского в с. Даровое Зарайского района Московской области (рис. 1.). Задачи раскопок были сформулированы заказчиком работ – филологическим факультетом КГПИ.<sup>1</sup>

Первой из них являлась расчистка фундаментов пристройки к сохранившемуся зданию усадьбы для ее последующей музеефикации. Второй задачей ставилось обнаружение остатков дома – первоначального места проживания семьи Ф. М. Достоевского.

Письменные источники по истории усадьбы довольно скудные. Собственно говоря, источник один – воспоминания брата писателя, Андрея Михайловича Достоевского. Разумеется, существует немалое число трудов биографов и исследователей творчества писателя, краеведов, но все они основываются все на тех же мемуарах.

Имение Даровое вместе с соседней д. Черемошной М. А. Достоевский приобрел в 1831 году у О. А. Глаголевской, которая незадолго до этого приобрела его у помещика И. П. Хотяинцева, чей род владел Даровым многие годы (Нечаева, 1939. С. 36). В те годы административно эта земля относилась к Каширскому уезду Тульской губернии. Обстоятельства покупки подробно описаны биографами писателя (Федоров, 2004. С. 132–133). Имение сгорело в апреле 1832 года вместе с деревней, еще до того, как семья Достоевских въехала в него. Первоначально, до восстановления усадьбы, семья Достоевских занимала небольшой дом,



Рис. 1. Вид на усадьбу



Рис. 2. Раскоп 1. Расчищенный фундамент пристройки



Рис. 3. Раскоп.1. Керамические поливные изделия: 1 – игрушка-лошадка, 2 – горшок

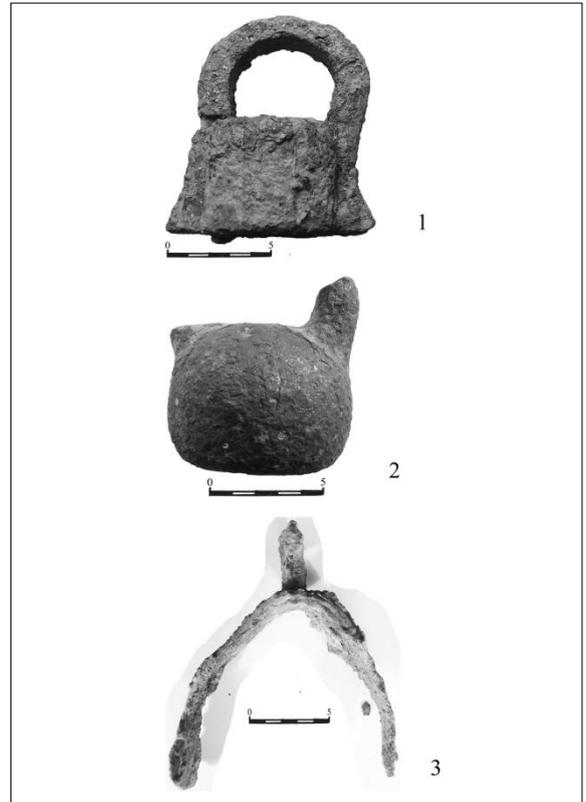


Рис. 4. Раскоп 2. Железные изделия: 1 – замок, 2 – гиря. Раскоп 1: 3 – шпора

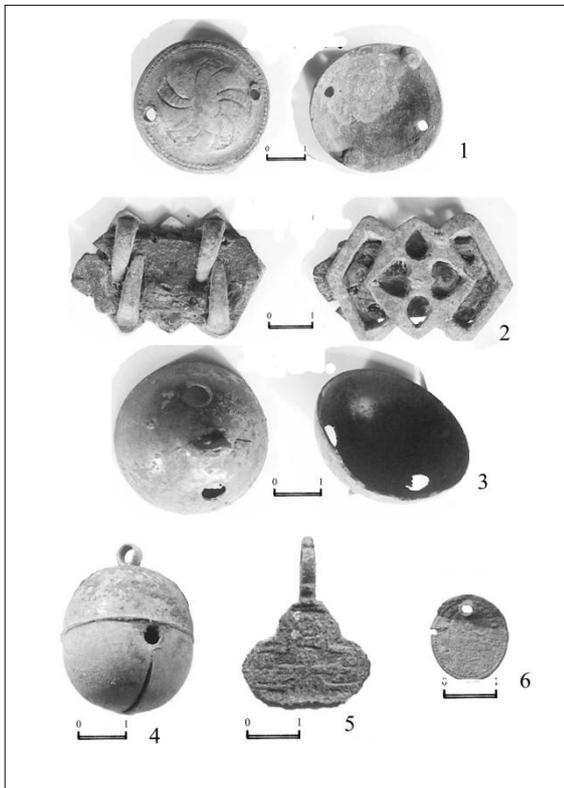


Рис. 5. Раскоп 1. Медные изделия: 1 – накладка, 2 – накладка с остатками кожаной основы, 3 – изделие сферической формы с петелькой в верхней части, 4 – изделие сферической формы с петелькой для подвешивания, 5 – фрагмент листовидного нательного креста. Раскоп 2: 6 – иконка-тельник

ущевший при пожаре – «плетневый, связанный глиною на манер южных построек» (Достоевский, 1992. С. 59). Остатки этого строения, по мнению заказчика работ, являлись главным предметом поиска. О времени постройки существующего здания усадьбы точных сведений нет. Нельзя исключить, что первоначально он мог быть возведен вскоре после пожара. Из переписки А. М. Достоевского с сестрой известно, что перестройка дома относится к 1886 году (сообщено В. А. Викторовичем), причем подчеркивается именно перестройка. Это обстоятельство заставляет предположить, что под новое здание были использованы старые фундаменты, возможно – 30-х гг. Федя Достоевский жил в Даровом по несколько месяцев в год с 1832 по 1836 гг. В 1839 г. при невыясненных обстоятельствах умирает отец писателя, и имение в конечном счете переходит во владение боковой ветви Достоевских, семьи Ивановых. В 1920-е гг., после смерти М. А. Ивановой, в доме первоначально организуется музей писателя, затем сельская библиотека. Повторно статус музея дому вернут в 1970-е гг.

### Раскоп 1

Раскоп 1 имел форму правильного прямоугольника, ориентированного почти по странам света, со сторонами 6 x 9 м. Он примыкал к существующему зданию усадьбы с ЮЗ стороны – там, где по воспоминаниям сотрудников музея и жителей села, ранее существовала пристройка – кухня или людская (рис. 2.).

Как письменные свидетельства, так и фотофакты изначально предполагали присутствие на данном участке каменной кладки пятистенка (см., например, Перлов, 1925. С. 155), что полностью подтвердилось. Северная стена этой пристройки была продолжением стены основного здания, но сама пристройка была уже. Была ли пристройка возведена одновременно с основным зданием, неизвестно, поскольку между самим зданием и раскопом была оставлена бровка шириной около 1 м, в итоге так и не разобранный – чтобы не навредить зданию.

Культурный слой в верхней части и в пределах фундамента был буквально забит металлическим мусором и битым кирпичом, причем значительная его часть – советского времени. Вероятнее всего, этот кирпич являлся результатом ремонта самого здания и стоявшей в нем печи.

В целом состав находок в слое, покрывающем фундаментные конструкции, датирует его XIX веком, с довольно значительными включениями материала начала XX в.

В пределах фундамента заслуживает внимания объемная подпечная яма, уходящая северным бортом под здание музея, ее восточный борт был ограничен обвалившейся каменной кладкой. В срединной части ямы обнажился мощный каменный столб, строительный материал идентичен используемому при возведении фундамента. Кирпичный материал датирован 1845 г. – началом XX в. (Киселев, 1986), в т.ч. обнаружен фрагмент кирпича с частью клейма на «пастельной» стороне в виде полуовала с одним зигзагообразным контуром.

Среди всего комплекса находок особо выделим гильзу от винтовочного патрона 7.62x54R (сист. Роговцева, Петрова, Савостьянова, или обр. 1891г.). Два обстоятельства – слегка завальцованное дульце гильзы и не разбитый капсюль позволяют точно определить тип довольно редкого патрона – холостой боеприпас с бумажной пулей. Такие патроны, как правило, снаряжались непосредственно в войсках, пластинчатым быстрогорящим порохом. В заполнение ямы патрон попал, несомненно, целиком, а бумажная заглушка впоследствии сгнила. Патроны этого типа можно считать датирующими, употреблявшимися до революции (Лови и др., 2003).

Среди находок из слоя, заполнявшего межъямное пространство (топоры, аптечные пузырьки – рис. 6), выразительна белоглиняная поливная игрушка-статуэтка в виде коника (рис. 3, 1). Судя по сколам, игрушка не была самостоятельной, а входила в композицию. Похожий экземпляр известен в каталоге Русского музея (Художественная

керамика... № 91 – 92) где датирован последней третью XVIII в. Заметим, что одна из последних обитателей дома, Мария Александровна Иванова<sup>2</sup>, коллекционировала фарфоровую игрушку, хотя доказательств принадлежности находки к ее коллекции нет. Из этого же слоя происходит и медная копейка 1874 года.

Видимо, верхний слой комплекса погребя – ранний советский период, время после смерти Марии Александровны Ивановой и превращения усадьбы сначала в музей, а затем в сельскую библиотеку (хотя разобрана пристройка была уже много позже войны). Нижний хронологический предел пока не определен, поскольку явных артефактов первой половины XIX в. у нас нет. Теоретически, во время перестройки 1886 года могли использовать фундамент постройки 1832 года, возведенной сразу после пожара села.

Второй значимый комплекс раскопа 1 – «Хозяйственная яма № 1», примыкавшая к фундаменту с внешней стороны. В ней зафиксирована максимальная толщина культурного слоя на раскопе (2,1 м), заполнение его дало самые ранние находки из слоя и самую богатую коллекцию. Беглого взгляда на состав находок достаточно, чтобы заметить очевидно высокий статус владельцев – украшения конской сбруи, шпора (рис. 4, 3), штофное стекло, в том числе клейменое (рис. 7), фрагменты фарфоровой посуды (рис. 10). Отметим также нательный крест листовидной формы (Рис. 5, 5), оселок, копейка 1759 и деньга 1735 годов. Эти находки заставляют нас определить яму 1 как часть усадебной постройки XVIII – первой четверти XIX вв., принадлежавшей тогдашним хозяевам деревни, помещикам Хотяинцевым. Постройка, связанная с ямой 1, теоретически могла достоять до пожара 7 апреля 1832 года, уничтожившего усадьбу и деревню (Федоров, 2004) – оснований для более узкой датировки у нас нет. Обнаруженные на дне ямы кремневые отщепы позволяют говорить о заселении людьми близлежащей территории и в более раннее время.

Полностью выбранная хозяйственная яма

№ 1 имела пологий борт в верхней части, в срединной и придонной борт практически отвесный, а в юго-западном углу – с подбоем. На дне ямы зафиксированы отдельные крупные белые камни и их скопление (северо-западный угол ямы).

Подводя итог работам на этом раскопе, отметим, что главная задача – расчистка фундаментов – была в итоге выполнена, хотя раскопом были исследованы слои или периода «до Достоевского», или «после». Однако, учитывая слабую разработанность хронологии материалов позднего времени, полученные из ям комплексы интересны сами по себе, как основа для подобных разработок в будущем.

## Раскоп 2

Место под раскоп ориентировочно было указано филологами, опиравшимися на свое прочтение воспоминаний А. М. Достоевского, хотя мемуары допускали, в принципе, разную трактовку. Осмотр усадьбы сразу же выявил небольшое всхолмление в 53 м. к ЮЗ от здания усадьбы, которое мы исследовали рекогносцировочным раскопом.

Культурный слой в раскопе оказался очень тонким, и почти сразу же под дерном нами были раскрыты остатки фундамента, причем некоторые камни были видны еще с поверхности. От фундамента сохранился ЮЗ угол, сложенный из известняковых камней на известковом растворе (рис. 9). От З и С стен сохранился только след в виде неглубокой, ок. 20 см. траншеи, заполненной суглинком с известковой крошкой и печиной, в СЗ углу сохранился один камень. От Ю и В стены не осталось даже следа, и мы не можем пока достоверно судить о длине постройки, хотя не исключено, что она могла попасть в раскоп почти целиком.

Стратиграфия раскопа различалась в центральных и периферийных частях раскопа. В кв. линий А, Г, а также в кв. Б1 –2, Б6 верхний слой темно-серого суглинка перекрывал предматериковый светло-серый суглинок, общая мощность отложений колебалась в пределах 30 – 70 см. (рис. 9). В центральных кв. – Б3 – Б5 стратиграфия



Рис. 6. Раскоп 1: аптечная посуда

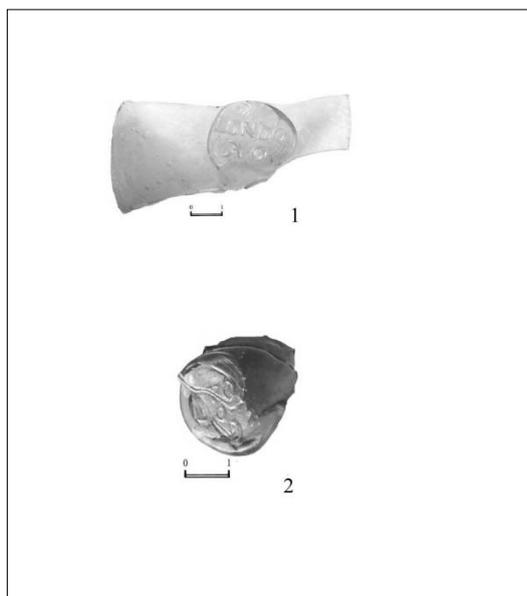


Рис. 7. Раскоп 1: клейма стеклянные

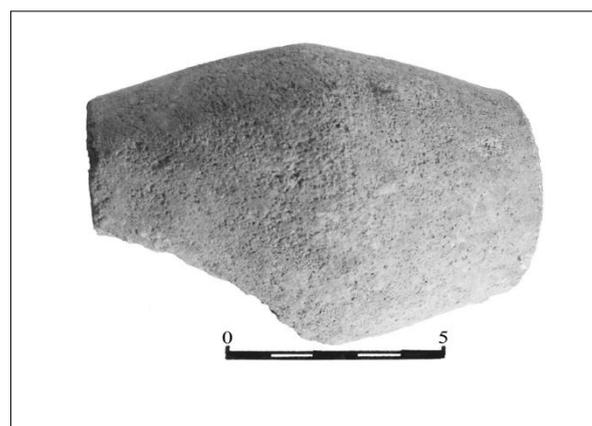


Рис. 8. Раскоп 1: каменное грузило

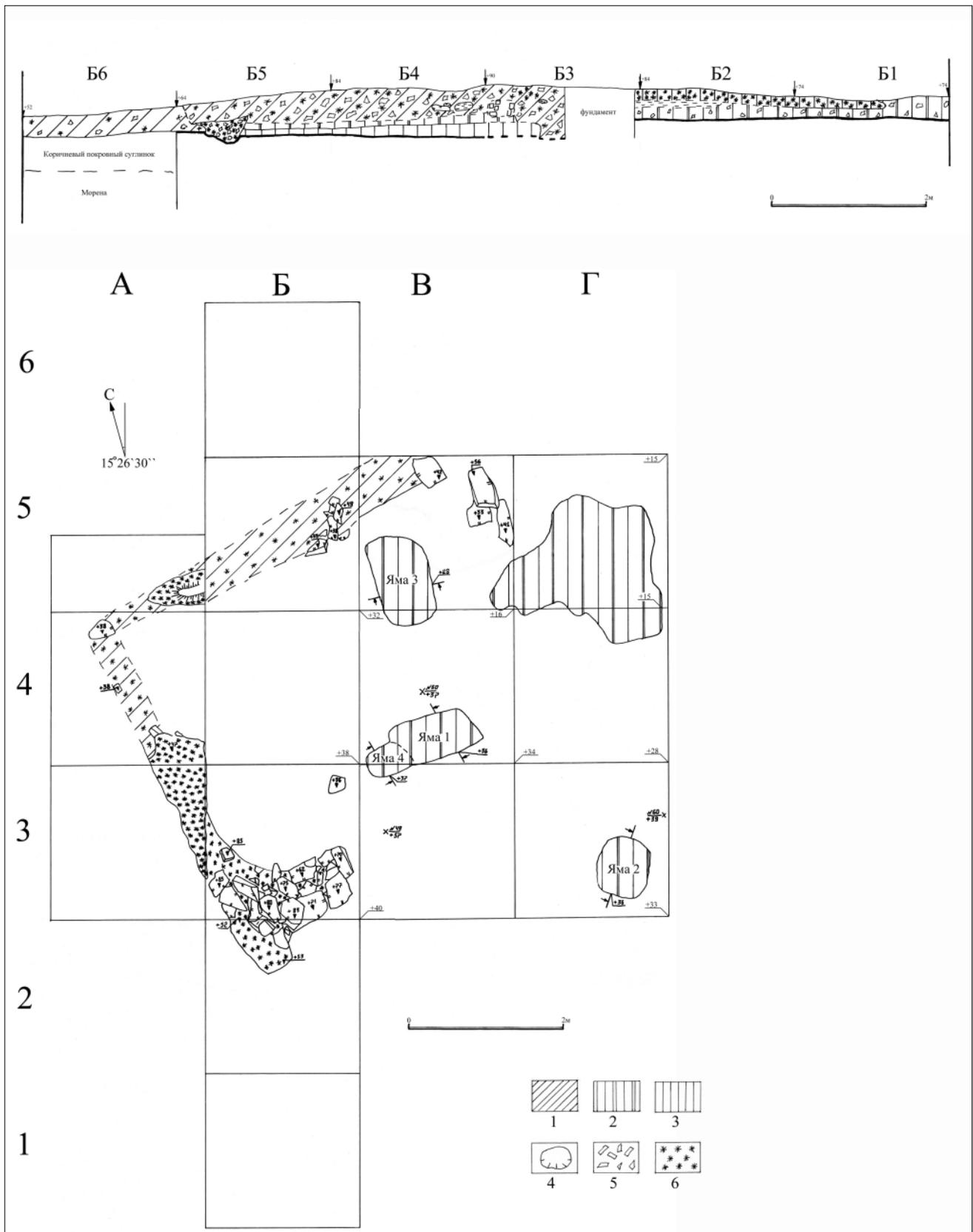


Рис. 9. Раскоп 2. План и профиль. Условные обозначения: 1 – тёмно-серая супесь, 2 – серо-коричневая супесь, 3 – серая супесь, 4 – камни, 5 – кирпичный бой, 6 – известь

была сложней: под верхним слоем в пределах фундамента четко читались тонкие прослойки серо-коричневого суглинка с включением известковой крошки, кирпичного боя и желтой глины. Общая мощность этих отложений невелика – всего ок. 8 см., но они четко приурочены к самой постройке и являются слоем ее заполнения, вероятнее всего, периода функционирования. Абсолютное большинство находок связано именно с этими прослойками.

Находки, связанные с постройкой, как часто и бывает при раскопках позднейших объектов, довольно любопытны, а некоторые так и просто умилительны – в первую очередь отметим детскую гуттаперчевую соску с костяным диском (рис. 11, 2) и детский оловянный револьвер (рис. 11, 1). Револьвер интересен, поскольку сам по себе является датирующей находкой. Две половинки этого предмета соединены железными заклепками. На месте спускового механизма в корпусе осталась полость. Предмет является подражанием револьверам, как капсюльным, так и центрального боя, распространенным в основном в США, в период начала 1860–1870-х гг. Характерная деталь такого оружия – т. н. «сосковидный» спуск, с клавишей вместо крючка и без скобы. Такое оружие неохотно делали фирмы Кольт и Смит-Вессон, но часто встречалось в номенклатуре менее именитых производителей – Ремингтона, Прескота, Марлина, Криспин, Коннектикут Армз К<sup>о</sup> и многих других. В Старом Свете оружие с таким спуском копировали неохотно, предпочитая традиционную спусковую скобу (Жук, 1993). Искать в игрушке точную аналогию бессмысленно, но несомненно, что это одна из наиболее узко датированных находок, поскольку нижняя ее дата – 1860–70 гг. (вероятнее всего, между оригиналами и игрушкой должен был существовать еще и некий временной зазор, и более вероятной может быть дата последняя четв. XIX в. или даже позднее).

Из пределов постройки происходят также обломок очков (рис. 11, 3). Целой серией представлены аптечные пузырьки, в т. ч. с клеймами (рис. 13). Традиционно такие

находки связываются с концом XIX – нач. XX вв. Обнаружено и несколько экземпляров пуговиц – латунные «скорлупки», одна из которых носит следы позолоты, стеклянная и одна близкая современному типу, с четырьмя отверстиями (рис. 12).

За пределами фундамента, но в непосредственной близости от него найдены также гиря (рис. 4, 2), замок (рис. 4, 1) и миниатюрная медная нательная иконка (рис. 5, 6). Замок довольно определенно указывает на вторую пол. XIX в., поскольку множество подобных предметов имели клейма с датой выпуска и находятся в коллекциях музеев Коломны и других городов<sup>3</sup>. Гири круглых форм также относятся к XIX в., поскольку входят в употребление после указов Павла I. Медная вставка с указанием веса и года обычно располагалась на дне, на нашем экземпляре она утрачена. Что касается иконки, то она представляет собой обычный для рубежа XIX – XX вв. дешевый сувенир для паломников: с лицевой стороны изображена Св. великомученица Варвара (надпись частично повреждена), с оборотной – изображение двух святых на фоне монастыря, подпись не читается<sup>4</sup>. Однако по иконографическим аналогиям можно предположить, что изображены Св. Сергий и Никон Радонежские, что указывает и на происхождение образца – из мастерских Троице-Сергиевой Лавры. Ввиду отсутствия аналогий в специальной литературе, можем указать близкие, приведенные в довольно неоднозначном издании «Древности и старина» (Квятковский, 2005).

Выводы, которые можно сделать на основе материалов раскопа 2, следующие:

Вскрытые нами остатки постройки представляли собой фундамент из камня на известковом растворе. Это довольно добротный фундамент. Принимая во внимание сложности в датировке поздних материалов, мы пока не готовы назвать точное время бытования постройки. И все же ряд находок – игрушечный револьвер, аптечные пузырьки, соска, замок – указывают на последнюю четв. XIX в. и предреволюционное время. По воспоминаниям старожилов, в указанном

месте существовала некая «барская кухня», и не исключено, что нами обнаружены ее остатки. Очевидно, что эта постройка не является искомой «мазанкой» и относится ко времени владения усадьбой семьей Ивановых и с именем Ф. М. Достоевского вряд ли связана (кроме, может быть только его кратковременного визита в село в 1877 г.) Отметим и еще одно обстоятельство – последние владельцы усадьбы, племянницы Ф.М. Достоевского, были бездетны. Ничего не известно (пока) и о других обитателях усадьбы, которым могли бы принадлежать обнаруженные игрушки.

Анализ стратиграфии показывает наличие тонкого слоя, отложившегося только в пределах фундамента. С этим слоем связано большинство находок, и именно этот слой является, вероятно, слоем самой постройки. Ни до возникновения постройки, ни после строительной активности на данном участке не зафиксировано. Таким образом, из пределов постройки раскопа 2 происходит сравнительно чистый (хотя, безусловно, не закрытый) вещевой комплекс, который может претендовать на роль опорного в дальнейших хронологических построениях.

Важным обстоятельством является бедность находками слоя за пределами постройки. Это позволяет надеяться, что «фон» керамики<sup>5</sup> и находок других эпох незначителен (или его вообще нет). Это придает полученной коллекции раскопа 2 дополнительную ценность.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. «Археология позднего периода истории». Материалы Круглого стола, проведенного редакцией и редколлекгией журнала «Российская археология» // Российская археология. 2005. № 1.
2. *Боярский П. В.* Исследования Морской арктической комплексной экспедиции (МАКЭ) на Соловецком архипелаге (1988 – 1994 гг.) // Соловецкие острова. М., 1996. Т. 2.
3. *Достоевский А. М.* Воспоминания. М., 1992.
4. *Жук А. Б.* Справочник по стрелковому оружию. М., 1993
5. *Кагоров В. М.* Восстановление людской

на территории музея-заповедника А. С. Пушкина в Болдине // Записки краеведов: очерки, статьи, воспоминания, документы, хроника. Горький, 1988.

6. *Кармазина Е. Л.* О реставрации усадьбы Добролюбовых в г. Горьком // Записки краеведов: очерки, статьи, воспоминания, документы, хроника. Горький, 1985.

7. *Квятковский В. Ю.* Поздние иконки-образки // Древности и старина. М., 2005. № 5.

8. *Киселев И. А.* Датировка кирпичных кладок XVI – XIX вв. по визуальной характеристике. М. 1986.

9. *Лови А., Борцов А., Кораблин В.* Стрелковое оружие России. Патроны. Часть 1 // Оружие. Историческая серия. Вып. 8. М., 2003.

10. *Нечаева В.С.* В семье и усадьбе Достоевских. М., 1939.

11. Новая Земля. Природа, история, археология, культура. Т. 1; Кн. 1; Кн. 2, ч. 1; Т. 3.

12. Охранные исследования церкви Вознесения Господня на Нижнем посаде Звенигорода. Труды Подмосковной экспедиции. Т. 3. М., 2005.

13. *Перлов И. П.* Сельцо Даровое в жизни и творчестве Ф. М. Достоевского // По тульскому краю. Тула, 1925.

14. *Полюлях А. А.* Аспекты изучения культурного слоя Москвы нового времени // Археологические памятники Москвы и Подмосковья. Труды МГИМ. Вып. 10. М., 2000.

15. Русские морские экспедиции XVIII века. М., 1996.

16. *Старков В. Ф., Корякин В. С., Зимин Е. Н., Державин В. Л.* Исследования на Шпицбергене (Норвегия) // Археологические открытия 2001 г. М., 2002.

17. *Сыроватко А. С., Панченко К. И.* Археологический материал XVIII – XIX вв. из раскопок на селище Тарасовка I // Труды Подмосковной экспедиции. Т. 1. М., 2002.

18. *Федоров Г. А.* Сельцо Даровое // Московский мир Достоевского. Из истории русской художественной культуры XX века. М., 2004.

19. Художественная керамика Гжели и

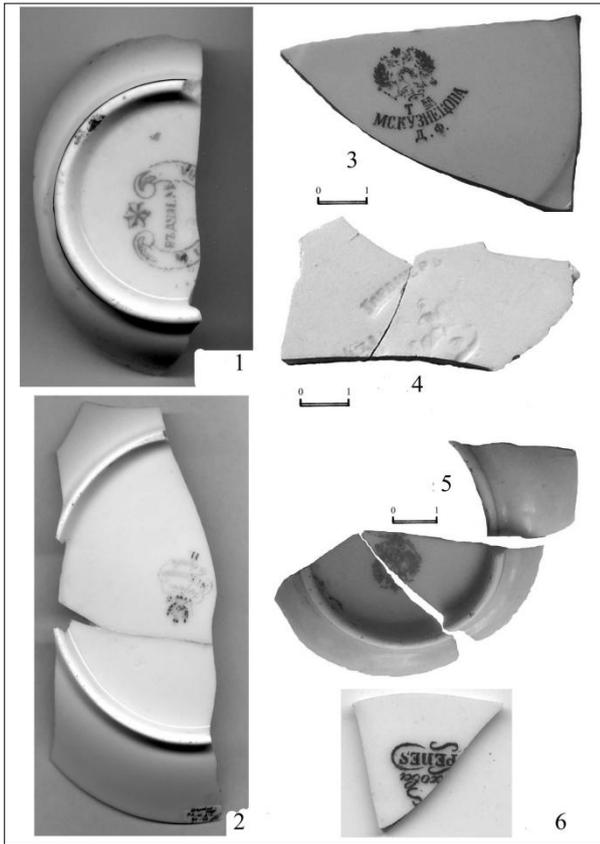


Рис. 10. Клейма фарфоровые: 1 – 4, 6 – раскоп 1; 5 – раскоп 2.

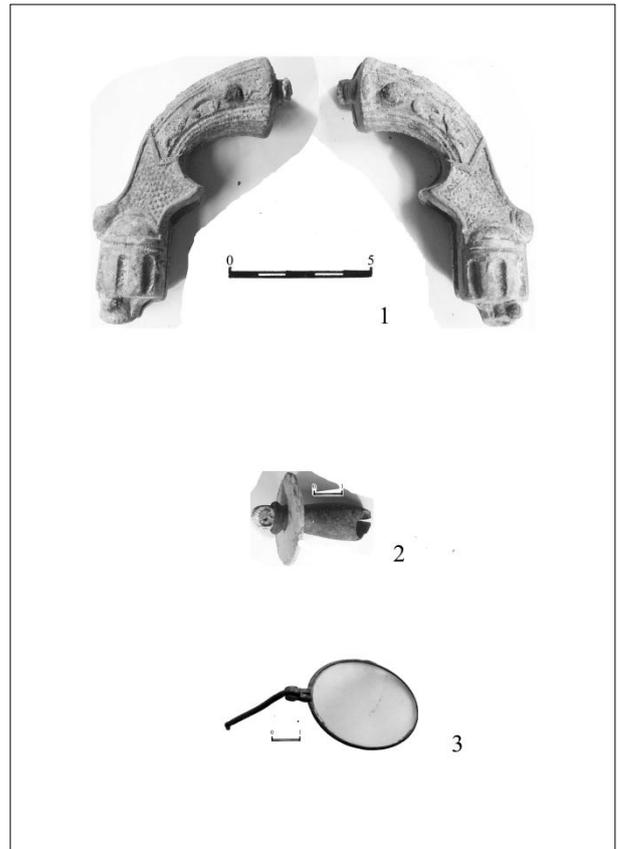


Рис. 11. Находки из раскопа 2: 1 – револьвер, 2 – соска, 3 – стекло от очков с фрагментом оправы

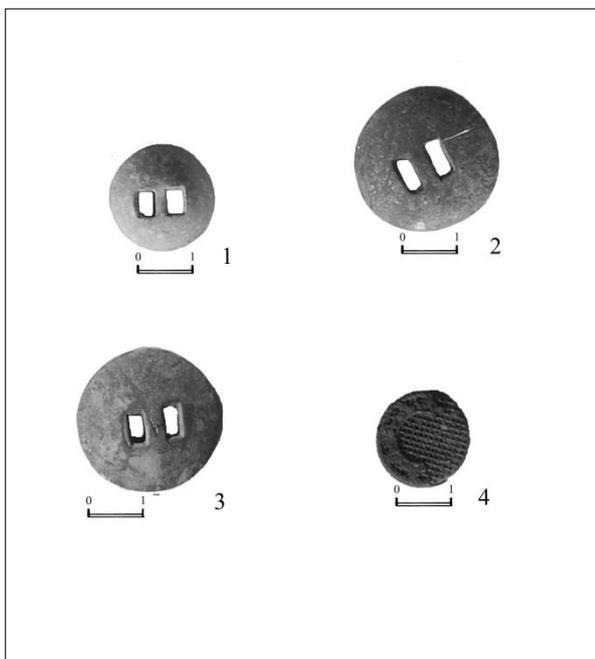


Рис. 12. Раскоп 2: пуговицы.

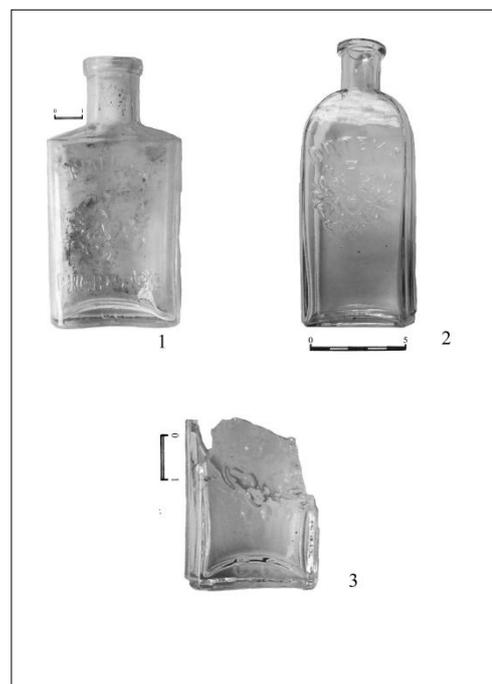


Рис. 13. Раскоп 2: аптечная посуда

Скопина в собрании Государственного Русского музея. Каталог. Л., 1987.

20. Черников В. Ф. О раскопках в селе Большое Болдино // Памятники истории и культуры Верхнего Поволжья: тезисы докладов 1-й региональной научной конференции «Проблемы истории и культуры Верхнего Поволжья». Горький, 1990.

21. Черников В. Ф. Усадьба Пушкиных в Большом Болдине: археологические раскопки на территории усадьбы. Н. Новгород, 2002.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Работа выполнена по гранту РГНФ № 05-04-18037е

<sup>2</sup> Дочь Веры Михайловны Достоевской, сестры писателя

<sup>3</sup> Датированный концом XIX – нач. XX вв. экземпляр есть в музее Королевских ворот г. Калининграда. В Коломенском музее замок такого типа имеет клеймо «1868 годъ»

<sup>4</sup> Определение Самошина С. И., Коломенский краеведческий музей.

<sup>5</sup> Коллекция массового материала довольно обширна, и к настоящему времени находится в стадии обработки.

## ОБСЛЕДОВАНИЕ ГЕОРАДАРОМ ТЕРРИТОРИИ МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ «ДАРОВОЕ»

Для поиска и изучения объектов исторического и культурного наследия георадиолокационный метод малоглубинной геофизики стал применяться в России сравнительно недавно. Между тем по своим возможностям георадиолокация часто оказывается наиболее эффективным методом неразрушающего обследования самых разнообразных археологических объектов.

Разрабатываемая авторами методика археологической радиолокации<sup>1</sup> объединяет как приемы геологического анализа геофизической информации (стратиграфическое расчленение разреза, оценка его инженерно-геологических характеристик<sup>2</sup>, интерпретация естественных неоднородностей и т. п.), так специальные приемы обнаружения искусственных объектов (выделение техногенных грунтов и культурных слоев, локализация неоднородностей в грунте по косвенным признакам и др.). Учитывается также вся информация по изучаемым объектам – материалы археологических раскопок, данные литературных источников и др.

Задуманная реконструкция и восстановление усадьбы «Даровое» представляется чрезвычайно сложной задачей, так как сведения об ее прежнем облике и планировке скудны и отрывочны. К моменту геофизических исследований достоверно не было известно ни количество дворовых построек, ни их местоположение. Территория их возможного расположения достаточно обширна и полностью охватить ее археологическими раскопками невозможно. На ее наиболее перспективном центральном участке с целью поиска погребенных остатков фундаментов была проведена площадная георадиолокационная съемка.

В основе георадиолокационного метода малоглубинной геофизики, известного еще как «подповерхностная радиолокация»,

лежит явление отражения высокочастотного электромагнитного сигнала от границ раздела в верхней части разреза – стратиграфических границ, уровней водонасыщения, разнообразных захороненных объектов, фундаментов и т.п.

Радиоимпульс с частотой в диапазоне от 50 до 500 МГц генерируется в антенне, являющейся устройством, одновременно излучающим и принимающим отраженный сигнал. В толще горных пород радарный импульс частично отражается от серии разноглубинных границ, формируя улавливаемый антенной сложный эхосигнал. Серия таких отраженных сигналов, получаемая при перемещении прибора, – радарный профиль, или радарограмма, дает представление о неоднородности верхней части геологического разреза.

Глубина проникновения сигнала составляет от десятков метров в сухих песчаных грунтах до первых метров в увлажненных глинистых отложениях, а разрешающая способность метода варьирует от единиц до десятков сантиметров в зависимости от контрастности свойств объекта, глубины его залегания и параметров сигнала.

Объекты, изучаемые археологией, – культурные слои, фундаменты древних сооружений, захоронения и многие другие – обычно отличаются сложным и неоднородным строением, содержат множество различных включений и неоднородностей, неравномерно и прерывисто увлажнены, что создает сложную волновую картину на радарограмме и затрудняет интерпретацию аномалий.

Георадиолокационные исследования территории музея-усадьбы «Даровое» проводились георадаром Sir-10b производства Geophysical Survey Systems Inc. (США) с антенной 510В центральной частотой 200 МГц методом

автопрофилирования. Был исследован участок площадью более 1 га; выполнено 27 радарных профилей общей протяженностью более 1000 м. При обработке георадарных данных использовалась программа RADAN.

При археологических раскопках, предшествующих радиолокационной съемке, на двух участках усадьбы был вскрыт культурный слой XIX века и подстилающие его отложения; обнаружено продолжение фундамента сохранившегося флигеля, сложенного известняковыми глыбами.

В ходе геофизических исследований отмечались все особенности микрорельефа: заплывшие ямы, осыпавшийся колодец, скопления обломков известняка – вероятно, следы каких-то строений. Эта информация учитывалась при интерпретации материалов радарной съемки: был примерно установлен возможные параметры искомым объектов и глубина их залегания, мощность и состав известных фрагментов культурного слоя, а также геологические условия места съемки, связь аномалий с объектами на поверхности и микрорельефом.

В пределах усадьбы толща четвертичных отложений сложена рыжевато-палевыми лессовидными покровными суглинками, в верхней части интенсивно гумусированными (мощностью 0,8 – 1 м). Ниже залегают на редкость однородные рыжие пластичные глины: возможно, это озерно-ледниковые реднеплейстоценовые отложения. Оценка глубин на радарограммах проведена путем их сопоставления с раскопом глубиной 4,2 м.

Опуская специальные детали интерпретации геофизических данных, отметим лишь, что ее целью является преобразование радарограмм в стратифицированные разрезы, выявление и разделение погребенных неоднородностей на естественные и антропогенные, сопоставление последних с возможными объектами и определение их параметров (глубины, размеров, степени сохранности и др.).

Достаточно простая стратиграфия четвертичных отложений четко фиксируется на радарограммах: повсеместно выделяются три георадарные фации, как правило, четко

различающиеся по характеру отражения в них высокочастотного электромагнитного сигнала.

Верхнюю фацию с горизонтальной ориентировкой параллельных отражающих слоев можно сопоставить с гумусовым горизонтом современной почвы. Мощность фации – от 10 – 20 см, редко больше. Отложения, соответствующие данной фации, содержат лишь единичные мелкие аномалеобразующие предметы. Средняя фация отличается менее контрастным отражением в ней электромагнитного сигнала и характеризует отложения как неясно слоистые, местами хаотичные, с множеством радиолокационных аномалий. Фации соответствует слой покровных суглинков мощностью около 1 метра. Нижняя фация отличается мало контрастным отражением сигнала и соответствует толще увлажненных глин, в которых происходит быстрое затухание сигнала. Верхняя граница фации является сильной отражающей реперной поверхностью.

Убедившись в выдержанном на всей площади съемки типе геологического разреза, можно утверждать, что большинство выявленных геофизических аномалий связано с погребенными неоднородностями и включениями искусственного происхождения.

На полученных радарограммах выделено несколько типов геофизических аномалий, различающихся типом волновой картины, размерами, выраженностью отражающих границ и иными признаками.

Аномалии первого типа благодаря своему характерному, как правило, «сдвоенному» облику были интерпретированы как крупные погребенные объекты, залегающие попарно или грудой примерно на одной глубине ниже гумусового горизонта почвы. Четко они прослеживаются несколько глубже 1 м, ниже сигнал плохо различим из-за быстрого его затухания в глине. Такое отражение могут формировать достаточно крупные объекты, подобные вскрытому при археологических раскопках продолжению фундамента флигеля, сложенного из крупных блоков известняка.

Аномалии иного облика сопоставляются со скоплением под дерновым слоем множества мелких объектов (мусора, камней, обломков кирпичей и т. п.). Подобными линзами культурных отложений диаметром до 5 – 10 м. могут быть засыпаны ямы (обвалившийся и заплывший колодец, мусорные ямы, подвалы или погреба разрушенных построек). Некоторым аномалиям этого типа соответствуют впадины или слабо заметные понижения на поверхности.

Наиболее четкие аномалии этих двух типов, а особенно их сочетание, обозначают, по нашему мнению, местоположение разрушенных усадебных построек, обвалившегося колодца, возможно, каких-то иных элементов планировки усадьбы.

Радарная съемка территории «Дарового» принесла и неожиданные интересные открытия. При обработке геофизических материалов были обнаружены два захоронения, значительно более древние, чем сама усадьба.

Восточное захоронение располагается под курганом высотой до 0,5 м и поперечником около 8 м, увенчанным трехсотлетними липами. Вероятно, именно этот курган упоминает в своих воспоминаниях брат писателя Андрей Михайлович Достоевский как любимое место семейных чаепитий в их детские годы. Холм над вторым, западным захоронением к настоящему времени практически полностью разрушен. Интерпретация обнаруженных геофизических аномалий как древних захоронений основана на характере отражения электромагнитного сигналов в этих структурах, а также на особенностях стратификации объектов. На радарограммах слагающая курган толща отличается хаотичной волновой картиной отражения, что свойственно искусственным насыпным отложениям. На глубине около метра у границы насыпи и «материка» отмечается парная объемная аномалия, образованная компактным скоплением мелких, возможно и металлических объектов небольшого размера. Объекты приурочены к центральной вершинной части холма. Подобное строение

имеет и второе погребение, но насыпь над ним частично уничтожена.

По мнению специалистов Коломенского археологического центра, работавших в «Даровом», захоронения, скорее всего, относятся к раннему железному веку (Сыроватко А. С., устное сообщение). Применение на территории музея-усадьбы «Даровое» георадиолокационного метода позволило составить карту погребенных здесь аномалеобразующих объектов, предположить их природу, описать их параметры. Результаты георадарного обследования территории усадьбы могут быть основой для планируемого продолжения археологических раскопок.

Радиолокационное исследование данного объекта продемонстрировало возможности метода на объектах наследия. Получение радарной информации в виде стратифицированных разрезов позволяет применять этот метод на многослойных археологических памятниках, в городских условиях, при замусоренности верхнего почвенного слоя металлическими предметами. Съемка может производиться практически в любое время года при различной влажности грунта и при весьма сложных инженерно-геологических условиях местности. Детальность исследования георадаром погребенных объектов и структур в большинстве случаев не может быть достигнута другими методами малоглубинной геофизики.

Технические возможности данного вида малоглубинной геофизики: профилирование на автотранспорте, высокая производительность исследований, визуализация данных в режиме реального времени, а также конструкционные особенности радара GSSI Sir-10b (полное экранирование антенны, отсутствие помех при съемке и др.) делают георадиолокацию наиболее эффективным современным методом изучения объектов наследия. Программное обеспечение георадара позволяет интегрировать материалы съемок в различные ГИС, создавать 3D модели обследованных погребенных объектов.

Авторы признательны руководителю

экспедиции Коломенского государственного педагогического института В. А. Викторовичу и заведующему музеем «Даровое» Э. А. Елисееву за организацию геофизических исследований, а также руководителю Коломенского археологического центра А. С. Сыроватку за содействие в проведении работ.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> *Клочко А. А., Шишков Д. Л.* Георадарные исследования в изучении объектов исторического и культурного наследия (на примере военно-исторических объектов Бородинского поля). Экологические проблемы сохранения исторического и культурного наследия. Материалы Девятой Всероссийской научной конференции (Бородино. 16 –

17 ноября 2004 года). Сборник научных статей. М: Институт Наследия, 2005. С. 307 – 317.

*Клочко А. А., Шишков Д. Л.* Обследование георадаром объектов исторического и культурного наследия Подмосковья // Проблемы истории Московского края: Материалы пятой научно-практической конференции, посвященной 75-летию Мос. Гос. Обл. ун-та. М.: Изд-во МГОУ, 2006. С. 108 – 110.

*Клочко А. А., Шишков Д. Л.* Визуализация археологических объектов по георадиолокационным данным. Археология и геоинформатика. Выпуск 3. Москва.: Институт Археологии, 2006 (электронная публикация).

<sup>2</sup> *Клочко А. А., Шишков Д. Л.* Георадиолокационные исследования в условиях центральной России Тезисы международной научно-практической конференции «Инженерная геофизика-2005». Геленджик: ГНЦ «Южморгеология», 2005. С. 206 – 207.

## ЗИМНИЕ ЗАМЕТКИ О ЛЕТНИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ В ДАРОВОМ

Мы долго рассматривали Достоевского как писателя, аккумулировавшего в себе сверхчувствительность к вывихам нравственных ценностей. В этом отношении Санкт-Петербург служил идеальной физической метафорой – «самый отвлеченный и умысленный город на всем земном шаре» (5; 101), с кажущимся рациональным планом, наложенным на непокорную природу. В этом контексте дезориентирующая городская среда делает бессмысленными все поиски моральной определенности. В своём метафизическом измерении Санкт-Петербург – олицетворение современной трагедии личности. Конечно, Санкт-Петербург – не единственное место действия больших романов Достоевского или «путешествия» его мысли. Москва, Старая Русса, Баден-Баден, Омск – вот широчайший разброс мест, вербализованных автором с его яростной решимостью преобразовать хаотичный мир.

Среди мест, в которых локализуется мир Достоевского, мы сравнительно немного знаем о родовом имении Даровое, которое он столь часто посещал в детстве. Значение этой непритязательной провинциальной деревушки неопределимо не только потому, что она так тесно связана с воспоминаниями Достоевского о детстве – и семейной трагедии, но также и потому, что она жила в сознании писателя как противовес к моральной неопределенности современного бытия.

Кажется, не так много осталось от физического мира родового имения Достоевского: скромный флигель и отдельные детали пейзажа. Остальное оставлено воображению и восприимчивости посетителя. Но сама эта земля имеет историю, которая представляется совершенно идеальной для того, чтобы взрастить и взлелеять одного из величайших русских писателей. Много ли Достоевский знал об истории Зарайска, ближайшего к

Даровому исторического города? Нет свидетельств, что Достоевский читал о драматических событиях, связанных с Зарайским кремлем в Смутное время, когда князь Дмитрий Пожарский организовал героическое сопротивление мятежным силам, разорвавшим эти земли в 1610 году. Тем не менее, во время посещения Зарайска и Дарового в августе 2003-го я почувствовал, что Достоевский должен был понимать корни, которые связывали эту землю с самим существованием России и её зачастую бурной историей.

Эта убежденность усилилась, когда я посетил церковь Сошествия Святого Духа в соседней деревне Моногарово. Она была приходской церковью семьи Достоевских, одним из тех мест, где писатель приобщался к ценностям русского православия. Архитектура чиста в своей структурной и декоративной логике – типичный пример позднего неоклассицизма восемнадцатого столетия, с прекрасной колокольней в западном крыле. Церковь сильно разрушена, но внутри уже идёт богослужение.

Конечно, в России много разрушенных сельских храмов – следствие семи десятилетий гонений на Православную Церковь. В течение более тридцати лет я сфотографировал их множество. Даже без ремонта некоторые из них служили местом простого богослужения, как, например, церковь Успения Святой Екатерины в Вязьме. В таких «воскресших» церквях я был поражён не только благородными руинами, но также чувством крепнущей веры в самых примитивных обстоятельствах. Что касается Моногарова, то красота церкви на фоне летнего пейзажа не поддаётся описанию. Но в то же время существование самого строения вызывает тревогу. Кирпичные стены, например, разрушаются не только временем, но и вандалами. Сама церковь расположена около склона, ведущего к небольшому ручью и пруду, что создаёт



Колокольня храма Сошествия Святого Духа в Моногарове, южная сторона.  
Фото У. Брумфилда, 2003 г.



Юго-восточная сторона храма. Фото У. Брумфилда, 2003 г.

---

проблемы для фундамента.

Какая судьба ожидает Даровое и Моногарово? Невозможно представить, что поэтическое место исчезнет. И столь же трудно понять, как имение Достоевского может выжить в современном мире, который требует «буквального», физического восстановления исчезнувших структур. Мне кажется, что сохранение и окончательное восстановление церкви в Моногарове должно стать абсолютным приоритетом. Будущее самого имения выдвигает более

сложные методологические проблемы. Но и имение, и церковь могут быть спасены лишь ценой огромных усилий. Это будет задачей моих российских коллег на ближайшие годы. Я же, как фотограф и историк, навсегда очарован тою красотой, которую время пощадило в Даровом и Моногарове.

Коломна.  
27 декабря 2003 года.  
Перевод Б. Архипцева